770.865

А. ДАВЫДЫЧЕВ

Почему плакала девочка

Л. ДАВЫДЫЧЕВ

Почему плакала девочка

ТРИ ТЕТРАДИ РАССКАЗОВ

Советский писатель
МОСКВА 1959

Тетрадь первая

СЛУЧАЙНЫЙ СПУТНИК

Глядя в темноту за вагонным окном, он вздыхал. Вздыхала и толстенькая проводница с черненькими глазами-бусинками. На пятый день пути она не выдержала, подошла и спросила:

— Почему не спите?

— Не спится, — ответил парень. — А вам, верно, спать хочется?

— Ой, что вы! Совсем нет. Я привычная. Я могу по трое суток не спать, и ничего со мной не будет.

— Занятная у вас работа, — грустно сказал парень, по-прежнему глядя в окно. — Новых людей много видите.

— Плохо это! — горячо призналась она. — Только познакомишься, а и расставаться пора. Кто на станции сойдет, кто на ходу выпрыгнет.

— А кто-нибудь когда-нибудь и вас с собой возьмет, — в шутку ответил парень.

Проводница нахмурила полукруглые тонкие брови и проговорила:

— Анюта из пятого мягкого за моряка вышла. Коренастый такой. С гитарой. Играть, правда, не умеет, но у него самоучитель есть. Научится.

— Будет и у вас моряк, — опять пошутил парень.

— Моряк... — она недоверчиво усмех-

нулась. — Не обязательно моряк. Да я их и не уважаю. Пьют они и хвастливые.

Парень постоял еще немного и ушел в купе. Проводница, прикоснувшись руками к тому месту рамы, где недавно были его ладони, пыталась ощутить тепло. И оттого, что рама оказалась холодной, девушка едва не расплакалась. Она достала карманное зеркальце и с опаской взглянула на свое отражение. Каждый раз при этом она с робкой надеждой думала: а вдруг случится чудо и в зеркальце появится красивое лицо! Увы, чуда не случалось, и она ногтем царапала крупные веснушки, словно рассчитывала сколупнуть их...

Была она влюбчива и все ждала, что и в нее кто-нибудь влюбится из пассажиров. У нее уже была заготовлена фотография, на обороте которой проводница написала: «Кого люблю, тому дарю».

Только не выпало еще случая подарить фотографию кому-нибудь, а дарить подружкам надоело. Легкомысленная и добрая, она верила, что люди влюбляются быстро, без раздумий, — вот так, в поезде, за несколько дней.

У нее болело сердце, когда она думала, что не найдет утешения в своей тоскливой жизни, что все будут беззлобно смеяться над ее веснушками, но никто не приласкает.

Парень снова вышел из купе. Проводница вспомнила, что он едет до Шумихи. Значит,

ему обратно по шпалам километров двадцать топать.

— И чего вы не спите? — спросила она.

— Вот окончил техникум, — словно не расслышав вопроса, грустно произнес парень, — еду работать. Страшновато немного. С друзьями расстался, а вдруг больше таких хороших людей не встречу?

— Хороших людей много, — убежденно проговорила девушка. — Только всё красивых ищут. А ведь не все красивыми родились.

Парень улыбнулся и ответил:

— Ерунда. Все люди красивые, в общем-то. Как полюбите, так и сами закрасивеете.

Она приняла его слова за шутку и тоже улыбнулась. Но парень не смеялся. И она поверила.

— Вот так, — глядя в темноту за вагонным окном, сказал парень.

На этом перегоне состав вел Алешка Пахомов, насмешник и анекдотчик. Проводница была готова перенести любые насмешки, выслушать хоть десяток анекдотов, от которых уши горят, стерпеть и то, что Алешка рукам волю дает, только бы у Шумихи поезд шел помедленнее, чтобы парень спрыгнуть мог.

Выслушав ее, Алешка проворчал:

— С ума попятилась.

Может быть, он заметил в глазах ее не просто просьбу, а мольбу; может быть, ему

передалось трепетное биение ее сердца, и он сказал уже спокойнее:

— А мне потом по этому замечательному месту начальство, знаешь, как трахнет? — и Алешка показал руками сразу на два места — на шею и ниже спины. — Тогда что? Тогда прощай, мой поезд, веду в последний раз.

Проводница больше ничего не говорила, только смотрела на него. Алешка воспользовался случаем и шлепнул ее по одному из тех мест, по которому его самого могло ударить начальство. Проводница словно не заметила. И Алешка, повиснув на поручнях, крикнул:

— Не сносить тебе головы, девка!

Виноватой вернулась она в вагон. Парень спал. Девушка несколько раз прошла мимо открытой двери купе.

Стучали колеса. Летело время.

Наконец она решилась: достала фотографию и засунула ее в карман плаща, который висел у двери. Кто знает, может, когда затоскует в незнакомом поселке, найдет эту фотографию и поймет, что есть у него еще один друг. Может, и обрадуется хоть на минутку?

За час до остановки она разбудила парня и уже не сводила с него черненьких глазбусинок да вздрагивала, когда он посматривал на плащ.

Вагон спал.

Промелькнули огни Шумихи.

Девушка думала о том, чтобы не заре-

веть, когда надо будет прощаться. А парень думал о том, что трудно придется ему на новом месте.

Поезд будто ткнулся во что-то — остановился. Проводница спрыгнула на перрон, а парень стоял не двигаясь, растерянно глядя на огоньки вокзала.

— Приехали, — со вздохом выговорила девушка. — Счастливо вам.

Парень спустился по лесенке, протянул руку, сказал:

— Спасибо.

Она решила, что он благодарит ее просто так, как положено пассажирам, довольным услугами проводника.

— И вам спасибо, — прошептала она.

— А мне-то за что? — недоуменно спросил парень.

— Да так... — слабым голосом отозвалась девушка. — Хорошо мне было. Вроде бы...

И он вспомнил, что дорога была не такой уж длинной; засунул руку в карман и вытащил фотографию.

— Это вам на память, — торопливо прошептала девушка. — На память... от меня...

Он задумчиво молчал, держа фотографию в руке. И девушка поняла, что не нужна она ему нисколечко. Поняла это и не заплакала. Даже не обиделась.

Парень положил фотографию в карман и сказал:

— Спасибо.

И девушка проговорила:

— Спасибо.

Они еще не понимали, за что благодарят друг друга, но когда поезд тронулся с места, лицо у парня было не растерянное, а сосредоточенное . . .

Голосили громко, во всю силу. Ревели сидя, утираясь подолами. Стоял только однорукий Силантьев, председатель колхоза, и его коричневое лицо с выгоревшими бровями было виноватым, будто он сожалел о том, что не имеет права разреветься вот так же.

— Тише, бабы, — повторял он, — тише, дуры вы... да ладно вам... в войну не ревели, а тут... ну хватит...

После каждой его просьбы женщины на мгновение умолкали, словно лишь для того, чтобы передохнуть, и снова начинали голосить еще пуще прежнего.

Лицо Силантьева из виноватого стало растерянным, потом жалобным, и, наконец, он крикнул, чтобы вытолкнуть из горла сухой комок слез:

— Хватит!

Замолчали. Только Верка судорожно всхлипывала, и сильные, раскинутые в стороны груди ее при этом подпрыгивали. Сидела она отдельно от других, ревела громче всех, жалобнее, но никто не смотрел на нее.

— Верка! — Силантьев постучал по столу ребром ладони.

Верка замолчала и лишь часто вздрагивала.

Председатель обвел притихших женщин долгим взглядом, вздохнул, погладил нашив-

ки за ранения и сказал тонким, сорвавшимся голосом:

— Встретим наших героев так, чтобы... — и отвернулся к окну.

— Пусти слезу, не держи, — посоветовала Таисья, высокая, сухопарая женщина с черными тоскливыми глазами. — Свои здесь, реви.

— Придумаешь тоже, — пробормотал Силантьев. — И вам нечего реветь. Хохотать надо.

— Да-к, припомнилося, — тихо воскликнула Верка, — вот и прорвалося!

— Чья бы корова мычала... — строго начала Таисья, но председатель торжественным тоном перебил:

— Встретим наших героев так, чтобы... И огурцы там разные, и капуста, ну, и сами знаете... Доложим им, что на колхозных полях сил своих не жалели, что чести своей не роняли, что...

Верка снова взвыла тонко да так жалобно, что Таисья сказала почти дружелюбно:

— Всяко, в общем, бывало, а выжили.

По домам расходились медленно, чувствуя великую потребность быть вместе, и в то же время тянуло домой, в избы, к ребятишкам.

Верка шла за Таисьей. Шли молча.

— И меня, и его прибьет, — убежденно сказала Верка.

— Тебя-то надо бы, — сумрачно согласи-

лась Таисья. — Гуляла когда, весело было, теперь бока подставляй.

— От радости я, что ли?! — крикнула Верка. — Время какое было, вспомни! И есть охота было, и страшно одной-то в пустой избе! Голодно! Холодно! Темно! У тебя ребята, а я одна... Со страху ведь!... Ничего, ничего, — угрожающе продолжала она, — в лесу осин много. Выберу, котора покрепче, и... — Верка замолчала. А шла она вразвалочку, бедра ее игриво перекатывались, будто жили сами по себе. — Ванюшку жалко! — снова крикнула она.

— Его не тронет, — тихо возразила Таисья. — Тебя поколотит. Так тебя, верно, и бить-то приятно: здоровая ты.

— Ага, ага, — вся просияв, согласилась Верка, — мягкая я... Со страху ведь я, — жалобно повторила она, — не от радости. У нас в родне гулящих не было.

Таисья шла, держа руки полусогнутыми, будто приготовившись взять ношу.

— Не я тебе судья, не меня ты боишься, не меня и уговаривай, — сказала она и свернула к своей избе.

Изба добротная, перед самой войной сложенная. Чисто в ней и пусто, и тишина здесь гулкая, даже скрип половиц режет слух, пугает.

Таисья легла на широкую лавку головой к двери, чтобы не прозевать, когда прибегут ребятишки, но заснуть не могла. Ощущение голода было привычным, она его почти не

замечала, и с места ее подняло какое-то смутное, незнакомое волнение.

Она умылась, переоделась в чистое, с трудом всунула разбитые ступни в брезентовые туфли, заходила по избе, будто искала чего-то.

Не сразу поняла Таисья, что это радость не дает ей покоя. Прав Силантьев: всю войну терпели, голодали, падали от усталости, но держались, — а произошла победа, и взвыли. Будто только сейчас заметили, поняли, из какой беды выкарабкались.

Война-то далеко от этих мест была. Люди здесь если и умирали, то не часто, по одному и медленно.

Не выдержала Верка, года два сытая жила. Плевали ей вслед женщины, называли не иначе, как коротким, хлестким словом. Оттого и работала Верка зло, может, и побольше других. Когда родился Ванюшка, принесли ей бесценные дары — зерно, картошку, молока выписали.

Вспомнив об этом, Таисья опять чуть не заревела, но пришел Силантьев. Он ловко свернул одной рукой «козью ножку», насыпал в нее самосада. Таисья стальным бруском о кремень выбила искру на нитяной фитиль. Председатель закурил, сказал:

— Сама, конечно, понимаешь: на фронте возле каждого смерть дежурит, ну и... разве осудишь солдата? Другое дело — ваш брат в тылу... Тут это... ну, обидно сол-

дату, когда... Ну, вот мне хорошо, я до женской части не охотник, а...

— От меня-то тебе чего надо?

Силантьев поперхнулся дымом и сказал:

— Испортит нам Верка праздник.

— Я ей не защита! — сурово ответила Таисья. — Ей война на два года короче вышла, чем нам. Она...

— Правильные твои слова, — осторожно перебил Силантьев. — Только должен я тебе доложить, что война — это не только пули, пушка да пал смертью храбрых. Ванюшка — это тоже война, тоже ранка... Ты ответь: работала Верка на совесть?

— Чего и спрашивать...

Прибежали ребятишки. Таисья шлепками и подзатыльниками сгоняла их к рукомойнику, налила в миску молока, накрошила жмыха, отвернулась, чтобы не замутило.

Потом, уложив ребятишек на полати, Таисья вышла с Силантьевым из избы. С непривычки ноги от туфель болели, она сняла их.

— Понимаешь? — спросил председатель. — Ты не по-бабьему рассуждай, а...

— Не моя беда об чужом грехе заботиться, — оборвала Таисья, — мне спать пора. Во сне, может, щи увижу, похлебаю.

Она уходит в избу, раздевается, залезает на печь, ворочается на твердом ложе, ощущая каждый кирпич. Дружно посапывают ребятишки — трое сынов.

Таисья спускается по лесенке, садится к

окну. Давно с ней такого не случалось: хочется молчать, слушая, как бьется сердце. Даже плечами пошевелила — до того явственно вспомнила холодок, который проник под кофточку в то утро; шли тогда со Степаном вдоль реки, а женатые уже были, под сердцем у нее двое шевелились...

С плеч холодок спустился в руки, в пальцах застрял. А тогда пальцы ломило, судорогой сводило — это когда они с Веркой картошку у Свиного мыса собирали. Потом им в райисполкоме грамоты вручали...

Заслышав под окном шаги, Таисья спросила:

— Ты, что ли?

— Я-а-а-а, — заголосила в ответ Верка.

— Тише ты! — прикрикнула Таисья. — Баб разбудишь. Спят бабы-то. Умыкались... Заходи давай, потолкуем...

И никого не надо, никого... Пусть все остается вот так, как сейчас: одна... идет по улице, мимо спешат люди, и никому нет до нее, обиженной, дела. Потом она вернется домой, сядет за книгу, сделает вид, что читает. Утром пойдет на работу, вечером — в школу, а на уме — все то же. Никому не расскажет она о своей беде, потому что никто не поймет.

Наташа нахмурила короткие черные брови и сжала губы: чтобы видели люди, что она страдает.

Но никто из встречных не верил в ее горе, все улыбались ей.

«Черствые люди, — думала она, — жестокие или просто глупые. Понятия не имеют, как тяжела жизнь, как она отвратительно устроена... Любовь, дружба... это болтовня! Я раньше считала, дура, что любят тех, кто достоин любви. Ничего подобного! Вот я этого Димку... этого... А он с этой... противно даже смотреть!»

А солнце было большое и доброе. Оно ласково грело Наташино лицо, лучики заглядывали в ее грустные глаза, и она недовольно жмурилась.

«Никого мне не надо, никого! — с отчаянием думала Наташа. — И Димку солнце греет, и эту... Чем она лучше меня? Поду-

маешь, в хоре поет!.. Гуляют сейчас где-нибудь, и она ему напевает...»

А они шли навстречу. Димка был в новой шляпе, надвинутой на самые брови, а она — эта! — в каком-то сиреневом колпаке.

Тревожно кричали воробьи.

Сначала Наташа хотела броситься в переулок, но не шевельнулась, и лишь когда они подошли, руки ее стали нервно то поднимать, то опускать муфту — будто она старалась прикрыть себя от насмешливого взгляда Димкиной спутницы.

Он покраснел и, проходя мимо, кивнул, а Наташа сказала:

— Привет!

И чуть не расплакалась, щурила глаза, кусала губы, чтобы удержать слезы, но одна слезинка все-таки выпрыгнула на щеку, и девушка до боли растерла ее муфтой.

«Я не знаю и не хочу знать, кто она такая, — думала Наташа, — но глаза у нее глупые и противные!»

— Слушай, друг...

Кто-то сильно толкнул ее. Наташа обернулась. Перед ней стоял высоченный парень в распахнутом брезентовом плаще, под которым была застегнутая до шеи телогрейка. На густой шевелюре лежала кепочка.

— Где тут Маршрутная улица? — спросил парень.

— Не знаю, — буркнула Наташа и отвернулась, продолжая смотреть вслед Димке и его спутнице.

Вот они скрылись за углом. Наташа опустила голову и увидела на мостовой рядом со своей маленькой тенью — длинную и через плечо сказала:

— Я не знаю, где эта улица.

— Так пойдем, поищем, — спокойно предложил парень. — Ты здешняя, тебе легче. А один я заплутаюсь.

Смерив его презрительным взглядом, Наташа направилась прочь.

— Слушай, друг! — парень догнал ее и зашагал рядом. — Мне эта улица, знаешь, как нужна? Ты ведь женского пола, ты должна понимать...

— У тебя здесь всё в порядке? — раздраженно спросила девушка и постучала пальцем по лбу.

— Времени у меня всего четыре часа, — будто не расслышав обидного вопроса, продолжал парень, — и надо мне эту улицу разыскать... Слушай, друг, помоги. А?

Наташа остановилась, невольно вдумываясь в слова, произнесенные спокойным, негромким голосом.

— Пошли, — неожиданно для самой себя согласилась она, когда парень замолчал, и через несколько шагов спросила: — К родным приехал?

— И сам не знаю, к кому приехал... А ты почему ревешь?

— Я? — смутилась Наташа. — И не... А ты как заметил?

— Привычка. Сам иногда слезы лью.

Это было уже интересно, и Наташа сказала:

— А ты чудак. Подошел к незнакомому человеку, сразу на «ты»...

— Привычка.

— А если бы я отказалась?

Парень отрицательно покачал головой. Он шагал, засунув руки в карманы плаща, не глядя на Наташу. Лицо у него было большое и некрасивое, но очень доброе. Шагал он широко, а неслышно. И девушке нестерпимо захотелось узнать, кто он такой и почему ищет Маршрутную улицу.

— Слышишь, друг, — позвала она, — а почему...

— Любопытная ты, — перебил парень. — Могу рассказать. Бросила меня моя зазноба, убежала к другому. И смотрел я им вслед... И вот приехал узнать, каким образом они живут, чем питаются, часто ли в кино ходят, — легко, без волнения говорил он, а в глазах — грусть.

— Не надо, — попросила Наташа, — не надо так. Ведь больно тебе, а ты смеешься.

— Ага. Смеюсь. Потому что всерьез об этом рассказывать — все равно, что кипяток пить.

— Она тебя любит?

Парень отрицательно покачал головой.

— Ты что, надеешься, что они плохо живут? Да? — запальчиво спрашивала Наташа.

Парень кивнул.

— Но это же... — Наташа осеклась,

вспомнив Димку и его спутницу. — Это же нехорошо!

Парень пожал плечами, но кивнул.

— Вот видишь, — удовлетворенно произнесла девушка. — А зачем ты приехал?.. А вдруг они очень счастливы? Ведь им неприятно будет видеть тебя! — говорила она, думая о себе, Димке и его новой знакомой. — Откуда ты взял, что твоя любовь ей нужнее? А может, ее муж во сто раз лучше тебя? Почему же ты...

— Ладно, ладно! — оборвал парень, но сразу же притих, опустив плечи. — А если я без нее жить не могу?

— А если она без него жить не может?

— А если мне больше никого не надо?

— А если ей больше никого не надо?

— Тогда как? — почти крикнул парень. — Так вот и... А?

— Не знаю...

Наташа шла в двух шагах от парня, потому что он топал прямо по лужам. Со стороны можно было подумать, что девушка о чем-то упрашивает его, а он не соглашается.

— Значит, что? — резко остановившись, спросил парень. — Что? — он смотрел на нее в упор, будто готовый обругать или ударить.

— Откуда я знаю? — виновато отозвалась Наташа. — Вот Маршрутная улица. Иди.

Парень исподлобья глянул вперед и закусил толстую губу. Он стоял в луже, сапо-

гами в отразившемся на ее поверхности солнце, увидел это и осторожно вышел на асфальт.

Солнце еще долго плескалось...

— Почему ты думаешь, что мы лучше их? — тихо спросила Наташа. — У меня, например, голоса нет, а она в хоре поет... А тот... этот... ну, ее муж, он...

— Он в домино здорово играет.

Наташа и парень долго смотрели на Маршрутную улицу и двинулись обратно.

Весело кричали воробьи...

Никита отправился в дорогу еще при луне, надеясь с рассветом сесть на попутную машину.

Есть в ночной тишине полей что-то торжественное. Дорога вела через эту тишину.

Увлеченный ходьбой, Никита не заметил, как начало светать.

Чудесен воздух раннего утра. Прохладный, чуть влажный, он пропитан и запахом хвои, прилетевшим из дальнего леса, и густым ароматом пшеничного поля, и многими другими весомыми запахами, которые сливаются в один — воздух раннего утра.

Никита остановился возле ключика; мылся так остервенело, что устал.

Зной уже давал себя знать. Никита часто оглядывался, чтобы не прозевать автомашины. Он бы присел отдохнуть, но тревога гнала его вперед.

Солнце поднималось все выше и выше, а ни одна машина не обогнала парня. Лучи, казалось, прокалывали кожу и там, внутри, жгли.

Проходя мимо прудов и речушек, Никита отворачивался. Он подсчитал, что может и пешком к ночи добраться до города, поэтому решил не отдыхать.

К полудню солнце настолько пропекло землю, что босым ногам было больно. В легкие при дыхании попадал не воздух, а

зной. Склонились травы, потемневшая листва не шевелилась. Голубизна неба, золото колосьев резали глаза. Чудилось: одно дуновение ветерка, и посыплется, звеня, на землю спелое зерно.

Ныли икры и пятки, ломило напеченный солнцем затылок. Ноги сами сворачивали в тень, но Никита шел прямо. Он проходил деревню за деревней.

Казалось, сделай шаг пошире, и мускулы лопнут.

То и дело мимо проносились встречные машины, а обогнала только запыленная «Победа».

Впереди показалось большое село.

Через него Никита брел, стараясь быть ближе к избам и заборам — в тени. У околицы лежали, разомлев от жары, крутобокие овцы.

— Сколько до города? — поддельно бодрым голосом спросил Никита встречного старика.

— Да верст сорок, а то и боле.

У парня подкосились ноги. Его охватило уныние, бороться с которым труднее, чем с усталостью. Подумалось, что до города все равно не дойти, что по дороге встретится широченная река без моста, что жена... а вдруг уже сын или дочь?!

Никита ускорил шаги.

В следующей деревне у околицы сидели на чемоданах несколько человек — караулили попутные машины.

— Сколько до города? — спросил Никита.

— Километров сорок, — ответили ему, — а то и больше.

Парень постоял, оттолкнулся от изгороди и пошел дальше. Впереди по дороге колыхалась его длинная тень.

Перед тем, как склониться к горизонту, солнце пекло изо всех сил. Уходило на покой светило, над землей плыла прохлада. Ногам еще было жарко от нагретой за день почвы, а в воздухе уже веяло свежестью.

Внезапно в повисшей над полями прохладе Никита уловил сквозной холодок, будто в воздух попала струя из ледника. Он взглянул на небо и поежился: из дальних-дальних сизых туч свисали изогнутые полосы дождя. У горизонта одна за другой полыхнуло несколько зарниц.

Стало холодно. Никита на всякий случай закатал штаны выше колен.

Пророкотал злой, раскатистый гром.

Впереди Никита рассмотрел чью-то фигуру — вроде бы человек.

А гром уже ворчал над головой. Никита побежал, напряженно вглядываясь в темноту. Ботинки, висевшие на шнурках через плечо, больно били по спине и по груди, но не хватало сил придержать их.

— Э-гей! — крикнул Никита. — Обожди, друг!

Человек остановился. Никита подбежал. Лицом к нему, уперев руки в широкие бока,

расставив ноги в кирзовых сапогах, стояла высокая полная женщина. Даже в темноте было видно, как блестят ее большие глаза.

— Случайно, не в город, гражданочка? — спросил Никита.

Женщина ответила тихо:

— В город, гражданин, да только не случайно.

— Возьмете меня в компанию?

— Дорога широкая. Места хватит. Откуда идешь?

Никита гордо произнес название деревни, где размещалась геологическая партия, в которой он работал. Он был уверен, что попутчица изумится, но она ничего не сказала.

— Пешком ведь, — обиженно добавил Никита.

Она кивнула.

— И не ел ничего!

Женщина, не глядя на него, непонятно откуда вытащила бумажный сверток и протянула Никите. От неожиданности он шагнул в сторону. Женщина сказала сердито:

— Бери, когда дают.

Никита впился зубами в пышную шаньгу. Заболели от усилий скулы. Он жевал торопливо, давился, глотая большие куски.

— Жуй, — коротко приказала женщина и, убедившись, что парень послушался ее, спокойно заметила: — Сейчас польет.

Высоко задрав платье, так, что мелькнули белые ноги, она села и попросила:

— Стяни-ко сапоги.

Наскоро прожевав последний кусок, Никита машинально сунул в карман бумагу и помог женщине снять сапоги. Она встала, взяла сапоги за ушки в одну руку и пошла.

Хлынул дождь. Женщина в мгновение промокла насквозь. Платье облепило ее широкую спину. Шла женщина спокойно, словно никакого дождя и не было.

— Шибко пристал? — через плечо спросила она.

— Ага, — отозвался Никита, которому после еды идти стало еще тяжелее. — А вы знаете, зачем я в город?

— По делу, видать.

Ливень шумел. Временами раздавался гром, и чтобы слышать друг друга, приходилось кричать.

— К жене иду на свидание!

И опять женщина не ответила.

— Очень хочется повидать ее! — обиженно добавил Никита. — Ребенка она ждет!

И на это попутчица ничего не сказала.

— Плохо нынче детей иметь, — продолжал Никита, — комнатка у нас махонькая, повернуться негде.

— А у нас дом большой... с огородом, с баней... Идем-ко быстрей, а то озябнем, — предложила женщина. — Близко уже. Верст пять, не боле.

— Дом — это хорошо! — крикнул Никита. — Благодать! А я...

— А я к мужу иду. К утру его повидаю

да обратно. Не отпускают часто-то. Делов много в колхозе. Вчерась вот отпросилась. Ну, просто сил моих нет, так своего мужика повидать охота.

— Он в городе живет?

— Живет... в городе... на Луначарской улице. Рак, говорят... Может, и правда! — сквозь гром крикнула она. — Кто их, врачей, разберет! Одно лечат, другое калечат! Отдали бы мне его, я бы выходила... А чего они больницы в городе строят? Вот тут бы над рекой выстроили или подальше, в лесу. Человека воздухом лечить надо. И чтоб кругом здоровые были. А в больнице? Тут и здоровый занеможет... Отдали бы мне его...

Никита растерянно спросил:

— Может, вам в городе остановиться негде?

— А чего останавливаться-то? Утра дождусь, на него погляжу и обратно.

Дождь утих, и сразу наступила тишина, такая тишина, что Никите показалось, будто он оглох. Потом он услышал, как журчит в канаве вода и шелестят мокрые листья деревьев.

Никита с женщиной шли по привокзальному скверику. Она рассказывала:

— Три года прожили, двоих родила. Здоровый совсем был, ничего незаметно, и вдруг раз — согнуло. Увезли в город, да так и лежит... Улыбнется мне, кровь моя стынет, будто я льду наглоталась... Пока

буду улыбки ему делать, не помрет. Верит он мне... Хоть бы кровь перелили или еще что придумали...

В чахлом скверике возле железнодорожной станции она села на скамейку, скрутила подол, выжала. Медленно сняла с головы платок, распустила густые волосы.

Никите хотелось сказать на прощанье что-нибудь утешительное, и он пробормотал:

— В общем, не волнуйтесь. Вылечат. Я знаю.

Женщина равнодушно кивнула, не взглянув на него. Ее словно нисколько не беспокоило, что она промокла, что впереди бессонная ночь.

— Будь здоров, попутчик, — сказала она, — будет у тебя дом, не волнуйся.

Выйдя из скверика, Никита по-настоящему осознал, что он почти дома, и бросился бежать.

Перед дверью в комнату он прислонился к стене, отдышался и постучал.

— Кто тут шумит? — раздался за его спиной голос старушки соседки. — Откуда ты взялся?

— Оттуда, — Никита ткнул пальцем в пространство. — Где она?

— В больнице.

— А... а зачем?

— Сын у нее родился.

— Сын?! — испуганно переспросил Никита. — Какой сын?

— Уж не знаю, какой, — кокетливо ответила соседка. — Твой, верно.

Никита вошел в комнату, толкнул створки окна, лег грудью на подоконник и заснул в этой неудобной позе.

И увидел сон. Идет к нему прямо по крышам женщина в мокром платье, в руках — сапоги. Хочет Никита убежать, а не может, ноги не шевелятся. Женщина швыряет ему сапоги, говорит:

— Носи, счастливый человек! Радуйся! Завтра я тебе дом принесу. Хороший у нас с мужиком дом. Бери, живи.

— Да у меня и денег-то нет, — бормочет Никита, — зарплата у меня...

— Не надо нам денег. Даром бери. Здоровья уступи немного. Самую малость. Все равно его у тебя лишка.

Проснулся Никита, грудь болит, еле оторвался от подоконника.

Он вышел на кухню.

— Как жить-то будете? — спросила соседка. — Ведь и повернуться...

— А вот так, — весело ответил Никита и поцеловал ошеломленную старушку.

КОСТЕР НА ТОМ БЕРЕГУ

Они сидели в двух шагах друг от друга, пока не остыли угли.

— Успеем на последний автобус? — тихо спросила женщина.

— Успеем, — беззвучно, одними губами ответил ее спутник, и когда она поднялась, спросил: — А мы не будем жалеть об этом?

— Не знаю... не знаю... не знаю... — несколько раз повторила она.

И вот дома на старой кушетке, пружины которой давно пришли в негодность и звенели, казалось, даже от движения воздуха, она слушала дождь. Звонко, насмешливо, дерзко стучали капли по стеклам.

А она вспоминала и вспоминала без конца весь сегодняшний день. Все произошло именно так, как и должно было произойти, именно так, как она и хотела. Но она до сих пор не знала, права ли она.

Сколько лет скучать ей одной в своей маленькой комнатушке, прислушиваясь к дождю или метели, к шагам в коридоре, к раздражающим звукам общей кухни? Одно и то же каждый день, каждый вечер, каждую ночь.

Дождь не унимался. От окна веяло холодной сыростью. Женщина сняла туфли и поджала ноги. Каждое движение сопровождалось звоном пружин. Она едва не расплакалась от пустоты и одиночества, будто только

сейчас, впервые ощутила их, будто только сейчас, впервые ей стало ясно, что она одна, совсем одна. И что толку в ее красоте, что толку в том, что любима и любит...

Она заплакала, не сдерживаясь. Плакала все громче и громче, словно рыданиями хотела заглушить шум дождя. Но дождь плакал сильнее.

Женщина замерзла. До халата, висевшего на стене, было рукой подать. Женщина не двигалась. Она знала, что если сделает хотя бы одно движение, то встанет и пойдет к нему, которого любит; пойдет потому, что тридцать четвертый, — это не двадцать пять и даже не тридцать...

Два года прошло со дня их знакомства. Год они изредка встречаются украдкой от всех.

При первой встрече ее поразило его лицо — с острыми выступами скул, на которых кожа покраснела; нахмуренные тонкие брови и усталый, даже покорный взгляд серых глаз.

Покорность проглядывала во всем: в тихом голосе и неслышной походке.

Сначала женщина старалась не замечать его, но потом пожалела, захотела чем-нибудь помочь.

Однажды она вышла из заводоуправления, где помещалось конструкторское бюро, в котором он работал, и чуть не столкнулась в подъезде с ним. Он стоял к ней спиной и курил. Ей подумалось, что он, должно

быть, очень несчастен и поэтому не спешит домой. Сама прожившая нерадостно, она не смогла остаться равнодушной.

Не обрадовалась она, когда почувствовала, что приближается любовь.

Она привыкла к одиночеству, к скромному образу жизни, в которой все было до мелочей знакомым — вот как эта старая кушетка или чертежный стол, за которым женщина снимала бесконечные копии.

Наградив ее красотой и умом, судьба дала ей замкнутый характер и строгие чувства.

И полюбив, уверившись в своем чувстве, женщина решила, что добьется счастья какой угодно ценой. Нельзя и некогда рассуждать!

Она сказала:

— Я люблю вас.

Он не ответил. Закурил.

— Я люблю вас, — повторила она, удивляясь своей смелости.

Он молчал, и она в третий раз проговорила:

— Я люблю вас.

— У меня двое детей, — ответил он, — вы знаете об этом.

— Какое мне дело! — с возмущением, с ненавистью даже сказала она. — Будь у вас хоть сто жен и тысяча детей, я... — и замолчала, почувствовав неправду своих слов. — Я люблю вас, — беспомощным голосом вновь повторила она, и слова эти вдруг поблекли, стали бессмысленными, ненужными.

— Я тоже люблю вас, — громко сказал он, — никого я не любил так...

— Хотите чаю? — перебила она, кусая губы. — Будем пить чай. Да, да, приходите ко мне каждый вечер пить чай... Двое детей...

— Да.

— Нет, мы не будем пить чай вместе, — резко проговорила она. — Я буду пить одна, а вы с этой...

Когда он попытался обнять ее, женщина попросила:

— Не надо. Я не могу так.

Много сил затратила она на то, чтобы доказать ему, что не имеет права разбивать семью, что... и сама не верила правде своих доводов.

Сердце ныло.

Женщина спросила однажды:

— Она хорошая?

— Да.

— Любит тебя?

— Да.

По голосу его она поняла, что все зависит от нее самой. Будет так, как она решит. Скажет — и он бросит семью.

Однако сама она не сделала ни одного шага к счастью.

А он сказал в субботу:

— Завтра вечером приезжай на озеро. Там, на другом берегу, я буду ждать тебя.

И словно в одно мгновение женщина заметила, как изменился он: покорность ис-

чезла из его облика без следа, даже походка у него стала другой — стремительной, порывистой, дерзок он стал и в работе, его конструкторские предложения вызывали много споров.

Утром в воскресенье она решила, что никуда не поедет. Уж лучше привычное одиночество, неутоленность желаний, чем ворованная любовь.

Днем она уже напевала, мечтая о встрече. Ей хотелось быть грешной, отторгнутой всеми, кроме него.

В автобусе она боялась поднять голову — ей казалось, что все смотрят на нее с брезгливостью. И женщина не могла понять, кто прав: она, наконец-то добравшаяся до счастья, или они, кто, конечно, осудит ее?

Темное озеро лежало у ног женщины, а на том берегу веселыми языками пламени плясал костер.

Женщина шла медленно, осторожно. «До счастья не больше ста шагов», — насмешливо подумала она.

Он не видел ее, остановившуюся невдалеке, там, докуда не долетал свет костра. Женщина приблизилась, и тепло обдало ее с головы до ног.

— Я пришла, — сказала она.

Костер разгорелся еще сильнее. А ей стало холодно. Она протянула руки к огню.

В костре щелкнуло, из пламени вылетел уголек и упал в раскрытую ладонь.

Женщина неторопливым движением, на-

слаждаясь болью, поднесла руку к огню и опрокинула.

— Десять лет назад, — с усилием сказала она, — от меня ушел муж... вот так же...

Медленно гас костер. Края его уже подернулись пеплом. Робкое пламя сопротивлялось темноте.

— Уйти... Выход ли это? — сказал мужчина и палкой разворошил угли.

Снова, теперь уже ненадолго, вспыхнуло пламя.

Они сидели в двух шагах друг от друга, пока не остыли угли.

— Успеем еще на последний автобус? — тихо спросила женщина.

— Успеем, — беззвучно, одними губами ответил ее спутник, и когда она поднялась, спросил: — А мы не будем жалеть об этом?

— Не знаю... не знаю... не знаю... — несколько раз повторила она.

И вот сидела дома на старой кушетке и слушала, как за окном откровенно плакал большой дождь.

ЧИСТОЕ ТЕЛО

Николай пришел в баню после ночной смены, злой, усталый, грязный.

В соседнем номере мылись девушки. Они хохотали, повизгивали, звонко шлепали друг друга.

«Вот дуры, — подумал Николай, — на мороз бы вас ночью трубы ворочать, не орали бы».

— Ой, не надо! Ой, не надо! — раздалось за стеной. — Ой, холодно!

Николай лег в ванную, и теплая вода, казалось, проникла под кожу, разлилась там...

А девушки за стеной расшалились. Их было, по-видимому, трое. Николаю представилось, что они легкие, загорелые, какие-то не такие, какими бывают обычно, и, наверное, очень красивые. Во всем, что он слышал и ощущал, было что-то удивительное, таинственное, будто он слышал сон.

Внезапно Николаю стало грустно. Тело его, мускулистое, поджарое, с темноватой кожей, показалось ему некрасивым, неприятным.

Вспомнил ночь, поежился... Работа у него грязная, должность — верховой, это на высоте метров тридцать, продувает со всех сторон, а одеваться приходится легко, чтобы двигаться ловко... Свищет ветер, разрезаясь о металлический скелет нефтяной вышки,

прижимает Николая к деревянной загородке, а то вдруг как шуганет в сторону!..

Тоже ведь судьба: окончил восемь классов, начал девятый, до института совсем немного осталось, но заболела мать, слегла, и пришлось думать о том, на какие деньги жить. С горя не стал выбирать, нанялся рабочим, потом учился на курсах, получил повышение в прямом и переносном смысле — стал верховым. Деньги, правда, немаленькие, однако недаровые, трудные.

Вернется Николай с вахты, глянет мать на его спецовку и запричитает:

— Скоро ли выбросишь ее, Коленька? Стыдно, поди, на людях таким ходить? Хоть бы счетоводом, что ли, или инспектором каким-ненабудь...

Стыдиться Николаю не приходится: поселок рабочий, нефтяной, а нефть, известно, в земле. Но завидно бывает на чистеньких смотреть.

За стеной опять послышалась возня и повизгивание. Опять они расшалились, опять раздурачились.

Николай вскинул голову вверх, и по плечам быстро прополз морозец — в стене, под самым потолком было большое отверстие, через которое проходили две тонкие трубы.

Неодолимая, дерзкая, испугавшая его самого сила забилась в нем, и разум не сдерживал ее. Будто кто-то шептал Николаю, но не в ухо, а прямо внутрь его, в мускулы: «Посмотри!»

А они за стеной, словно нарочно поддразнивая, хохотали и толкались с таким азартом, что Николай будто слышал, как поют их тела под шлепками.

Взволнованный и в то же время холодно сосредоточенный, смотрел он на отверстие в стене, прикидывая, куда можно поставить ногу, за что ухватиться.

— Полюбить, девчата, охота, — услышал он, — замуж ведь пора...

Ворчала в трубах вода, где-то звонко падали капли. Нежно думал Николай, что хорошо бы сейчас невидимкой оказаться там, среди них, просто бы посмотреть и чуть-чуть прикоснуться, узнать, из чего они сделаны.

— А парни иной раз больно нахальные бывают.

— А то наоборот.

— А я вам скажу...

Зашуршал душ. Николай вздохнул. Не разберешь их. Пробовал он с одной из конторы гулять, ребята научили, как действовать надо, — по щекам отхлестала. Другой, лебедчице из электроразведки, все про книги рассказывал, ближе чем на полметра не подходил, — на смех его подняла, безруким обозвала... Ну их всех, без них проживем. Разворошат душу, взбаламутят, а толку?

И трубы он больше ворочать не станет. Выдумали тоже! К буровой подъезд дождями размыло, и нет, чтобы трактора обождать! «Поднатужимся, ребятушки!..» Не мое дело — чужую работу работать.

Николай очнулся от тишины. Прислушался — за стеной никого уже не было. Эх! Хоть бы на улице на них посмотреть, какие они! Прозевал, балбес... Он начал торопливо одеваться, но белье с трудом налезало на мокрое тело. Прикосновения спецовки коробили.

Он выскочил в коридор. Старушка банщица удивленно спросила:

— Уже? Да ты, милый, и двадцать минут не шоркался! Али чистый приходил?

— Чистый, — буркнул Николай и прошел в буфет. У стойки три девушки в одинаковых новеньких телогрейках пили газированную воду. Они были румяные и усталые.

Николай до того пристально разглядывал их, что девушки отвернулись.

— Пива! Кружку! — громко попросил Николай, хотя не любил его.

— Нету, — зевнув, ответила буфетчица.

— Тогда этой... ну, газировки!

— Стакан?

— Кружку!

Девушки посмотрели на него, прыснули, о чем-то пошептались и дружно стукнули стаканами о стойку. Николай проводил их грустным взглядом, отпил глоток невкусной воды и побрел домой.

Как всегда бывает после бессонной ночи, голова тяжело гудела. Но об отдыхе и подумать было нельзя — обед, полы, небольшая стирка.

— Женился бы, — с жалостью повторяла

мать. — Сколько девчат кругом... Вон в сберкассе какие культурные работают. И у денег завсегда.

Только в середине дня Николай повалился на кровать и — будто нырнул в сон, глубоко-глубоко...

Вынырнул, слышит голос матери:

— Коля, а, Коленька!

Открыв глаза, он подумал, что ведь здóрово пришлось повозиться ночью с этими треклятыми трубами.

Приятно было натягивать на чистое, отдохнувшее тело брезентовую спецовку.

Он вспомнил о девушках и рассмеялся.

Дорога на буровую шла лесом. Идти было весело, хотя твердые выпуклости замерзшей грязи больно ощущались сквозь резиновые сапоги.

Ветер приносил резкий запах свежей, только что вырвавшейся из земли нефти. Николай ловил запах так старательно, что чуть закружилась голова.

В нем билось светлое утреннее настроение, словно где-то рядом, совсем поблизости, смеялись и дразнили его эти девушки...

САМОЕ ДЛИННОЕ МГНОВЕНИЕ

Он редко думал о смерти, но когда мысль о ней все-таки приходила в голову, желал только одного: не умереть бы весной. Ведь в эту пору к нему неизменно возвращались силы, он будто молодел и чувствовал биение жизни даже в кончиках пальцев своих огромных натруженных рук, прошитых темно-синими венами.

Удивительные это были руки: некрасивые, даже нелепые размерами и формой, они вдруг обретали неожиданную красоту и даже изящество, стоило им к чему-нибудь прикоснуться; потому что к любой вещи, к любому малому предмету руки эти относились с нежностью и уважением, которое знакомо лишь тем, кто на своем веку немало души вложил в созидание вещей. Труд сделал его руки некрасивыми в момент покоя; труд преображал их, когда они делали дело.

И как раз весной-то он и вспоминал о смерти, вспоминал без страха, не веря, что перестанет дышать, что уйдет куда-то из этого неуютного, суматошного, очень ему дорогого мира; не верил потому, что врос в этот мир, подобно глубокому корню... Ну, а если на то и пошло, лишь бы не весной!

А умер он весной.

Проснувшись по привычке рано, он сразу подивился бодрости, которой была пропи-

тана каждая частичка его громоздкого тела, подошел к окну и толкнул створки.

Холодный, пронзительный аромат черемухи ворвался в комнату.

— Закрой окно, — сонно прошептала жена, — чего тебе не спится?

Он протянул руку и почувствовал, что ему не хватает воздуха, покачнулся.

Подкрался ветер, шире распахнул окно.

А он еще дышал, еще думал, еще жил, а сердце уже не двигалось. С обидой решил: сейчас, вот сейчас он умрет.

Но — длинным, бесконечным было мгновение перед смертью, и в это мгновение он вспомнил многое и многому удивился.

Вчера шел с завода, и захотелось ему купить жене букетик цветов.

— Два рубли, — сказала подслеповатая старушка.

— Рубль, — сердито предложил он, — везде по рублю продают.

— Два, — упрямилась старушка.

Не денег ему было жалко, просто обидела несправедливость. Не купил цветов, расстроился, чуть не обозвал старушку спекулянткой. Чтобы утешить себя, взял он в киоске бутылку портвейна, который по сравнению с водкой считал напитком вредным.

Родные не дали ему выпить, отобрали бутылку, долго бранили. Он чертыхнулся, ушел на кухню, вбил гвоздь для посудного полотенца и сразу успокоился. До поздней ночи ходил он по квартире и делал разные малень-

кие дела: собрал старые калоши и сложил их в ящик, смазал керосином дверные шарниры, чтобы не скрипели, песком вычистил таз под умывальником, золой протер ножи и вилки. Каждое движение доставляло ему удовольствие, казалось необычайно важным.

Спать не хотелось. Он тщательно обмел пыль с приемника, купленного неделю назад. Смешно получилось: ушел в магазин за зимним пальто, а вернулся с приемником. Сначала домашние дружно бранили его за неразумную покупку, но почти до утра слушали передачи.

Сейчас, в последнее мгновение, он пожалел, что не купил приемника раньше. Вообще, не умел он жить! Так и не добился благоустроенной квартиры, так и не собрался съездить в санаторий, все откладывал да откладывал, не навестил брата, не... не... не... Даже не ухитрился вчера выпить рюмку, не поставил перед женой букетик цветов!

Многого он не сделал. И, чувствуя, как в него входит смерть, жалел о несделанном. Маленькой показалась жизнь, короткой.

Уже родные сбежались на крик жены, увидевшей его смерть, а он все еще жил, все еще длилось последнее мгновение.

Смеялась за окном лукавая весна, дышала устало и страстно, как молодая женщина, что вынырнула из ледяной воды и раскинулась под солнцем.

И он вспомнил девушку, ту, которая пер-

вой познакомила его с ласками, подарила всё, что имела... Остановил он разгоряченного боем коня около санитарной повозки, где всегда была эта девушка, а тут ее не оказалось. Больше он ее и не встретил, потому что к вечеру бросила его наземь пуля.

Вспомнил, как в далекой азиатской деревне, где между небом и землей — в пустыне вылавливал басмачей, встретил свою будущую жену, как год не трогал ее. А зачем? Год, значит, отнял у радости.

Двух сыновей своих вспомнил, но не живых, не людей, а бумажки похоронные о их смерти.

Вдруг он с облегчением подумал, что умирает не впервые, ведь в сорок третьем году умирал — грохнулся на пол рядом со станком. Тогда вот так же холодно дышала у самого лица смерть, вот так же сбежались люди...

Черемуха за окном расплылась радужными пятнами. Он еще жил. Трудно было смерти сразу завладеть им!

Не собирался он умирать. Вчера, лежа в постели, рассказывал жене о своих планах. Во-первых, к осени уйдет на пенсию, во-вторых, начнет лечиться. Жена молчала, потому что слышала это в сотый раз.

Хорошо, что не ушел на пенсию, хорошо, что купил приемник. Хорошо, что дрался с беляками и басмачами. Хорошо, что в сорок третьем грохнулся на пол рядом со станком... Хорошо... хорошо... хорошо...

Длинной, затерявшей начало в дали годов, представилась ему своя жизнь. Было в ней столько событий, встреч, разлук, горя, праздников, друзей, врагов, цветов, вина, метелей, солнца, — что все это слилось в одно радостное ощущение бесконечности.

И не смерть холодила его руки, а живой холод, стальной холод металла чувствовали они. И мертвые пальцы чутко зашевелились, привычно трогая знакомую поверхность какой-то огромной детали...

Жалко ему стало родных и близких, которые в непонятном ему страхе суетились вокруг. Что с ними? Чего боятся? Нет смерти, не бывает ее, не страшна она, ну, вот нисколько, потому что не верит он в нее.

«Живем, живем», — радостно подумал он и умер, так и не успев поверить в смерть.

Лежал он, и удивительные руки его словно живые покоились на груди, красивые человеческие руки, готовые в любой момент вздрогнуть и начать делать дело...

Тетрадь вторая

ПОЧЕМУ ПЛАКАЛА ДЕВОЧКА

Эту комнату мы называли кабинетом, хотя на самом деле она была обыкновенным чуланом. В нем стоял тонконогий столик, тумбочка и стул. На столике сверкала консервная банка-пепельница, рядом — стопка фотографий, придавленная увесистым камнем. К краю стола была привинчена кофейная мельница. Вот, пожалуй, и все, если не считать пузырька с чернилами, ручки и томика рассказов Паустовского.

Я рассказываю об этом так подробно потому, что кабинет-чулан и еще одна комната с крошечным балкончиком в доме на берегу Камы, среди сосен, берез и огородов — это счастье. Его не омрачает даже сумма в семьсот рублей за сезон (так владельцы дач называют лето).

Мы приехали сюда из душного пыльного города, вырвались из круговорота заседаний, собраний и совещаний и задышали свежим воздухом.

Вечером, расставив вещи, мы налили в чашки рислинга, охлажденного в ключевой воде, чокнулись, выпили за то, чтобы всем жилось хорошо, и сразу опьянели. Опьянели и запели веселые песни. И хотя Ленька пил не рислинг, а простоквашу, он все равно вроде бы опьянел и пел песни вместе с нами.

Спать мы легли рано.

Утром, едва проснувшись, я вскочил, от-

крыл окно и вылез на крышу. Стоял под колючим ветерком, смотрел вокруг и думал. До чего же глупо мы живем, думал я, крутимся с утра до вечера, копошимся, ссоримся, куда-то торопимся, к отпуску дуреем настолько, что первую неделю отдыха ничего не соображаем, не верим, например, что можно целый день проваляться с книгой в руках. Зимой мечтаем о юге, портим себе настроение, вымаливая у профкома путевку. А вот уехал сюда, всего за пятнадцать километров от города, и — какая благодать!

Через час мы сидели на балкончике и завтракали.

— Рыбачить пойдем? — спросил меня Ленька.

— Никаких рыбалок, — сказала мама Надя, — идите лучше в лес.

Лицо у Леньки стало грустным. Он проговорил:

— Смешно. В лес. Лучше рыбачить.

— А если утонете?

Тонуть мы и не собирались, а поэтому обиделись на такие слова. До того обиделись, что есть перестали.

— Идите лучше в лес, — повторила мама Надя, — грибов принесете или ягод.

— Мы рыбачить хотим, — жалобно сказал Ленька, — отпусти нас рыбачить.

— А если утонете? — снова спросила мама Надя.

Тут мы расхохотались. За кого она нас принимает? И зачем это мы тонуть будем?

— Если вы пойдете на рыбалку, — обиженно произнесла мама Надя, — я буду волноваться. Вы хотите, чтобы я волновалась?

Мы совсем не хотели, чтобы она волновалась, но еще больше нам хотелось вытащить из воды несколько ершиков.

— Вы плохие люди, — сказала мама Надя, — вы думаете лишь о себе. Лишь бы вам было хорошо. Да?

— Нет, — ответил я.

— Нет, — повторил Ленька.

— Неужели ты не хочешь ухи? — спросил я. — Мы поймаем много ершиков и сварим такую уху, что ты пальчики оближешь.

— Десять пальчиков, — добавил Ленька. — Мы будем сидеть на дебаркадере и ловить рыбу. Для чего нам тонуть?

Разговор закончился тем, что мама Надя махнула на нас рукой и уехала в город за продуктами.

Мы отправились на рыбалку. Я нес удочки, а Ленька червей в спичечной коробке. И хотя мне было тогда двадцать восемь лет, а Леньке пять—шестой, настроение у нас было одинаковое — замечательное.

Шли мы босиком, и теплый песок приятно щекотал нам подошвы.

Через несколько шагов мы увидели, что на скамейке у забора сидит маленькая девочка в красных трусиках. Худенькие плечики ее вздрагивали. Она плакала, держась за лицо руками.

— Плачет, — насмешливо шепнул мне Ленька, — вот рева!

Девочка подняла на нас заплаканное лицо.

Мы остановились.

Ленька показал ей язык.

Девочка снова всхлипнула, снова схватилась за лицо руками. Чего это она? Кругом такая благодать, а она плачет, глупая!

— Смешно, — шепнул мне Ленька.

Девочка не обращала на нас никакого внимания, плакала и плакала. Сначала нам стало жаль ее, а потом мы подумали, что жалеть ее нечего. Куклу, наверное, потеряла или обозвал ее кто-нибудь как-нибудь, а она реветь.

Я посадил Леньку на плечи, и мы стали спускаться вниз по крутому берегу. Гальки больно впивались мне в пятки.

Из-под берега бежали леденющие ключики. Мы быстренько пропрыгали по холодной земле и по шатким доскам поднялись на дебаркадер.

Закинули удочки и сидим, важные, гордые. Нам кажется, что темно-зеленая вода так и кишит ершами. Они ходят огромными стаями и сейчас как набросятся на наших червяков...

Не клевало.

— Чего это она плакала? — спросил Ленька.

— Не знаю, — ответил я. — Жалко?

— Немного.

Мы переменили червяков, поплевали на них, снова забросили удочки. Наверное, в Каме было много-много рыбы, но ни одна не желала, чтобы мы сварили из нее уху.

— Может, ее настукал кто-нибудь? — спросил Ленька.

— Бывают такие, — согласился я.

Мы снова переменили червяков. Снова забросили удочки.

Не клевало.

И стало нам грустно, до того грустно, что мы взглянули на берег, туда, где сидела и горько плакала девочка в красных трусиках.

— Может, ее умываться заставляли, а она не любит умываться? — спросил Ленька. — Помнишь, я в детстве такой был?

— А может, у нее зубы болят? — спросил я.

Мы смотрели на неподвижные удилища и вспоминали маму Надю. Она, как всегда, оказалась права. Не надо было нам идти на рыбалку, ничего из этого не получилось. Уж если мама Надя против чего-нибудь, лучше соглашайся, иначе будет у тебя неудача.

— Посмотрим на нее? — предложил Ленька.

Мы смотали удочки, высыпали червяков в Каму и поднялись вверх по берегу.

Девочки на скамейке не было.

— Ушла, — сказал я, — успокоилась и ушла. Играет сейчас.

— А вдруг все еще плачет?

Долго мы сидели на скамейке, раздумывая

над тем, почему же плакала девочка и где она сейчас, плачет или нет.

Придя домой, мы старались не смотреть друг другу в глаза. Стыдно было. Маму Надю не послушались — раз, ни одного ерша не поймали — два, и девочка — три.

Потом мы сварили картошку, надергали в огороде луку и сели обедать.

— Девчонки всегда плачут, — сказал Ленька, — бабушка говорит, что у них глаза на мокром месте.

— Какое нам дело до каждой ревы, — ответил я. — Она, может, по сто раз в день плачет.

Решили поспать. Вынесли на балкончик матрац, подушки и легли. Несколько раз мне показалось, что я засыпаю. Но стоило мне обрадоваться тому, что сон пришел, как глаза мои открывались.

— И чего я про нее думаю? — спросил Ленька.

Мы встали, и каждый занялся своим делом. Я читал, Ленька пускал корабль в бочке с водой. А в общем, было нам грустновато.

Ничего, скоро вернется из города мама Надя, и нам сразу станет весело. Привезет она разных вкусных вещей, а главное — сама приедет. Когда мама Надя дома, жить как-то легче.

Мы вышли на берег, чтобы встретить ее. Мы махали руками и прыгали от радости, когда речной трамвайчик проплывал мимо.

С трамвайчика нам не ответили. Мы перестали прыгать и сели.

Много людей сошло с трамвайчика на берег, но среди них мамы Нади не было.

Грустные, сидели мы на берегу и тихо пели песенку:

Лед по Каме не плывет,
Наша мама не идет.
Кама, Кама,
Где же наша мама?

К пристани подошел второй трамвайчик, а мама Надя опять не приехала. Мы еще раз спели нашу песенку.

Когда человеку грустно, он ничего не может делать. Мы прогулялись по берегу, посидели на той самой скамейке, на которой утром сидела и горько плакала девочка в красных трусиках.

Третий трамвайчик подошел к пристани. Много людей высыпало на берег, но среди них не было той, которую мы ждали.

— Безобразие, — сказал Ленька.

Плакать мы, конечно, не плакали, но вздыхали враз и громко.

Вдруг видим: идет по берегу та самая девочка в красных трусиках и улыбается.

— Чего это она улыбается? — спросил Ленька. — То ревет, то улыбается...

А мне подумалось, что было бы здорово замечательно, если бы девочка подошла к нам и спросила:

— Почему вы такие грустные?

Мы бы рассказали ей о своем плохом поведении, пожаловались бы, и нам стало бы легче.

Но девочка прошла мимо. Какое ей до нас дело! Мы грустные, а она веселая.

— И чего ей смешно? — всхлипнул Ленька.

— Может, у нее мама приехала? — спросил я.

Мы вернулись домой и сели пить чай. Делали мы это для того, чтобы убить медленное время. Выпили по целых три чашки, вымыли посуду.

И когда нам стало уже не грустно, а страшно, приехала мама Надя. Мы по нескольку раз поцеловали ее в обе щеки. Она улыбалась и молчала. Она и без наших рассказов поняла, что мы во всем раскаиваемся.

ЛИВЕНЬ ДАВНО УТИХ

Я даже не знал, с чего начать это неприятное письмо.

За стенкой Ленька камнем вбивал гвоздь в доску и напевал песенку, слова которой мы придумали вместе:

Ах, Мари, Мари, Мари,
Зачем ты съела сухари?
Зачем ты съела винегрет?
Зачем ты съела белый хлеб?

Ленька провинился сегодня утром — соврал. Мама Надя сказала, что если он будет говорить правду, то спать будет крепко-крепко. Спать Ленька не любил, но дал слово, что постарается не врать.

— «Зачем ты съела сухари?» — весело напевал он и стучал камнем.

Ему легко жить — он верит, что если вбить в доску гвоздь, то получится корабль.

Вот он, видимо, вбил гвоздь, ушел на улицу и унес песенку с собой... Нет, песенка осталась. «Ах, Мари, Мари...» — начал я напевать и даже привскочил от злости. А глупая песенка, словно смеясь надо мной, пелась и пелась у меня в голове... Нет, это просто издевательство — ушел, а песенку оставил...

К вечеру на дачный поселок вылилась страшенная гроза, злая и громкая. С потолка закапало.

— Тонем! Тонем! — радостно кричал Ленька.

Весь пол мы уставили кастрюлями и тарелками. Тяжелые капли отрывались от потолка и падали, поднимая трезвон-перезвон.

— Красота, — сказал Ленька, — ни разу в жизни такой грозы не видал. А вы?

Мы отрицательно покачали головами, хотя однажды видели грозу и похуже этой. Помню, приехали из родильного дома Надя с Ленькой. Тогда я и стал звать ее мамой Надей, потому что — худенькая и легкая — она совсем не походила на мать.

Все гости были веселые, и только рыженькая Леночка даже не улыбалась. Я решил, что она просто устала: ведь это она навела в комнате порядок, приготовила угощение и выстирала первые пеленки.

Когда гости ушли, мы с мамой Надей, не сдержавшись, поцеловались, обалделые от счастья.

А Леночка вдруг расплакалась. Плакала она долго и громко. Бывает так — надо человеку выплакаться, и мы не приставали с расспросами.

Началась гроза. Казалось, молнии летали около самого окна, а гром бухал прямо под потолком.

Леночка сказала:

— Я пойду...

И сколько мы ни уговаривали ее, она ушла. Я выглянул в окно. Леночка шагала спокойно, заложив руки за спину, высоко запро-

кинув голову, будто для того, чтобы ливень смыл ей слезы. Мама Надя потянула меня за рукав, я выбежал на улицу и у ворот догнал Леночку.

— Нет, нет, нет! — бормотала она. — Я пойду, пойду... Я не могу с вами, не могу. Вы... вы счастливые! — она тонко всхлипнула. — Вы счастливые, а я...

Ливень хлестал Леночку по лицу, и все-таки я видел, как из ее васильковых глаз бежали слезы. Их нельзя было спутать с дождевыми каплями. Слезы были крупнее и светлее.

Потом мы сидели с мамой Надей над Ленькиной кроваткой и чувствовали себя виноватыми. Как-то стыдно было быть счастливыми, когда рядом плакало чужое горе.

Трудно жилось Леночке одной, без любимого человека, всех она умела утешить, но не себя. У васильковых глаз появились морщинки. Меньше стало кудрей в рыжих волосах.

...Ливень давно утих, а в комнате еще долго слышался трезвон-перезвон.

Ленька умчался бегать по лужам. Видимо, у меня было такое измученное лицо, что мама Надя предложила:

— Не пиши. В конце концов, это не наше дело.

Я заткнул пузырек с чернилами пробкой, убрал бумагу и ручку в тумбочку.

Мы вышли на берег. Мутная, рассерженная грозой Кама недовольно плескалась.

— Конечно, не наше дело, — сказал я.

Мама Надя вздохнула, и я понял, что мы стараемся обмануть друг друга. В том-то и беда, что это наше дело. Я вспомнил, как появился у нас в конструкторском бюро Паша, толстый, добродушный увалень. Вспомнил, как вскоре разгладились морщинки у васильковых глаз Леночки, буйно закудрявились рыжие волосы.

Вчера была помолвка. Через неделю зарегистрируются — и свадьба. Леночка попросила нас честно сказать свое мнение. Мы обозвали ее глупой. Какие тут нужны советы? Женитесь да живите себе на здоровье!

— А все-таки напишите, — сказала Леночка.

Мы проводили их до пристани и вернулись. На ступеньках лестницы я увидел маленький, вчетверо сложенный листок бумаги. Мне не надо было поднимать его! Мне надо было пройти мимо или изорвать его, не читая!

Но я поднял листок и прочитал. На душе у меня стало мерзко, будто я заглянул в замочную скважину и увидел то, на что посторонним лучше не смотреть. Я отдал письмо маме Наде, и она, которая плачет редко, тут не могла сдержаться.

— Предположим, мы этого письма не видели, — сказал я.

Мама Надя ответила:

— А мы его видели.

Утих ветер. Кама посветлела.

Если бы сейчас рядом оказался Паша, я... А что я мог сделать? Дать ему по физиономии? Разве от этого легче будет Леночке? Разве будет легче сыну и женщине, которых Паша оставил в соседнем городе?

«А тебе какое дело? — спросил я себя. — Ну, совершил человек ошибку... Леночку он любит. Будет у них счастье. Какое ты имеешь право вмешиваться в чужую судьбу?»

Предположим, мое дело — сторона. Сыграют свадьбу, пролетят месяцы или годы, и вдруг грянет гроза, прибежит к нам заплаканная Леночка и крикнет:

— Обманул!

А потом взглянет нам в глаза и добавит:

— И вы обманули.

Тихая была ночь. Мне казалось, я слышу, как дышат деревья. Все вокруг было вымыто грозой. Все было чистым и свежим.

Крепко спал Ленька.

Мама Надя стояла у окна.

Я писал. Буквы получились крупными, злыми, фразы — короткими. Я писал и видел, как у Леночкиных глаз появляется все больше и больше морщинок.

Казалось, что снова поднялась пыль с дорог, перестали дышать деревья, и уже не было вокруг послегрозовой чистоты.

Крепко спал Ленька.

Мама Надя стояла у окна.

Я запечатал письмо в конверт, спрятал его подальше — во внутренний карман пиджака, рядом с документами.

Второе письмо получилось еще короче. Буквы были прямыми, ровными. Леночка улыбнется, прочитав это письмо. Его я засунул в другой карман, рядом с пачкой папирос. Я мог ворваться в чужую жизнь и в мгновение отнять у Леночки долгожданное счастье. Я мог пройти мимо, не думая, что будет дальше.

Утром Кама была голубовато-серой. Слева на горизонте сквозь дымку виднелся город, справа и прямо — синие дали.

Мимо плыл теплоход, на нем ехала веселая музыка, вылетала из радиоприемников и плыла, не отставая, за судном. Хотелось задержать песню, но она плыла и плыла вниз по реке.

После свадьбы Леночка мечтала прокатиться на пароходе, а мы собирались помахать ей с берега.

Скрылся из виду теплоход. Вместе с ним скрылась и веселая музыка.

Я машинально проверил, оба ли письма на месте, и направился по берегу туда, где на здании клуба висит почтовый ящик.

— Опять ты обидел ее? — спросил я Леньку. — Выпороть тебя не мешало бы за такие дела.

Ленька ответил:

— Детей бить нельзя.

Он стоял передо мной, опустив круглую, наголо остриженную голову, и время от времени проводил руками за резинкой своих грязных, бывших когда-то желтыми трусиков. Делал он так не потому, что они спадывали, а, наоборот, потому что резинка была тугой. Утром мама Надя советовала ему надеть другие трусики, иначе живот заболит, но Ленька упрямо заявил:

— Замечательные трусики, а резника у них слабая. И живот у меня, будь спокоен, закаленный.

Теперь живот его был в красных вдавленных полосах, будто его бечевками стягивали. Лицо у Леньки было вымазано сажей — это он играл в негра.

Мама Надя воскликнула:

— Ведь вчера только ты дал слово вести себя хорошо!

Ленька и пришел ко мне жаловаться.

— Зачем мы обидели ее своим отвратительным поведением? — спросил я.

— Она говорит, что у меня твой характер, — с гордостью ответил сын и, понизив

голос, добавил: — Она все равно меня любит. И тебя тоже.

— Ты думаешь, что тебе не попадет?

— Может быть, попадет, — согласился Ленька, — но она нас все равно любит.

Ему попало, и здóрово. Во-первых, его не отпустили бросать гальки в Каму, во-вторых, вымыли горячей водой, в-третьих, сказали, что в ближайшее время, впредь до особого распоряжения, он не получит ни одной мороженки.

Сейчас Ленька был чистенький, свеженький и притихший.

— А вот на крышу вылезу, — спросил он, — попадет?

Я кивнул.

— А она меня все равно любит.

Ленька был прав. Мама Надя любила нас и прощала нам всё. Иногда, правда, нам доставалось, но в конце концов мы получали прощение. И мы всегда думали: простит! Не выгонит же она нас из дому! Куда она без нас денется? Кому в воскресенье будет пирожки стряпать?

Но в этот день мама Надя, видимо, решила доказать нам, что ее терпению и любви пришел самый настоящий конец.

Днем мы с Ленькой, убедившись, что она спит и ничего не слышит, вылезли через окно на крышу (что нам было строжайше запрещено). Такую мы увидели красоту, что забыли обо всем.

Хлопнули створки окна, и раздался спокойный голос мамы Нади:

— Вы хулиганы. Вам хочется упасть с крыши и поломать себе ноги. Пожалуйста, падайте сколько вам угодно. Мне это абсолютно безразлично, потому что обоих вас я уже ни капельки не люблю.

А мы и не поверили! Глупые, мы подумали, что кого же ей еще можно любить, если не нас?

Мы сидели на крыше, пока нам не надоело, ждали, что мама Надя позовет нас и тут же простит.

Но она не звала нас. Когда мы влезли через окно в комнату, то не увидели мамы Нади. Мы сбегали на пристань, заглянули в магазины, к знакомым — нет. И все-таки мы были уверены, что она простит нас, и не очень беспокоились ее исчезновением.

Не беспокоились, пока не увидели у калитки нашей дачи моряка. На белом кителе его сверкали изумительной красоты пуговицы, на груди были ордена и медали, а сбоку висел кортик. Солнечный луч попал на золото кортика и стрельнул мне в глаз. Я зажмурился.

Мы стояли, разинув рты. Это был красивый моряк и, наверное, смелый.

Тут мы вспомнили, как однажды мама Надя сказала нам, что у нее есть знакомый моряк, с которым она училась в школе, что этот моряк никогда ее не обижал, и что он, между прочим, красивее нас обоих, и что она выйдет за него замуж, если мы будем вести

себя плохо, и будет у нее новый сын, получше, чем Ленька.

И тут нам стало не по себе. А моряк спросил, где ему разыскать женщину по имени Надя, фамилии которой он не знает, потому что она вышла замуж и переменила фамилию.

Как нам хотелось обмануть этого красивого моряка! Как нам хотелось сказать ему, что никакой Нади здесь нет, а если даже она здесь и живет, то это его нисколько не касается, пусть плавает по своим морям и океанам и не ездит сюда совсем. Нечего ему здесь делать.

Но мы не соврали, мы сказали, что Надя живет здесь, что она наша: вот я ее муж, а он, Ленька, ее сын.

И показалось, что моряк взглянул на нас с усмешкой. Дескать, противно даже и думать, что Надя могла променять меня на вас. Вот возьму и увезу ее с собой, а вы тут живите как знаете.

— А она нас любит, — дрожащим голосом сказал Ленька. — А то, что мы иногда ссоримся, то ерунда.

— Ссоритесь? — спросил моряк. — Почему?

Что ответить, мы не знали, потому что сейчас действительно не могли понять, зачем мы с ней ссорились и обижали разными глупостями.

— Можно ее подождать? — спросил моряк.

Вздохнув, мы ответили, что можно. Мы даже угостили его чаем. Моряк съел три шоколадных конфеты.

Мы не теряли времени даром: натаскали полный бак воды, чтобы мама Надя была довольна; начистили овощей для супа, подмели пол.

А моряк стоял на балкончике и курил сигарету за сигаретой. Мы знали, о ком он думал. Мы знали, что она любит нас, а не его, хотя он и красивый. И все-таки нам было очень невесело.

— Может, она сегодня не придет! — громко, так, чтобы слышал моряк, сказал Ленька. — Возьмет да и не придет!

Мама Надя тут же пришла. Она не обратила на нас внимания, поцеловала моряка и проговорила:

— Хорошо, что приехал.

А моряк развернул сверток и протянул ей набор духов в зеленой коробке. Мы чуть не закричали от возмущения. Он хитрый, этот красивый моряк! Он подарил ей именно тот набор, о котором она давно мечтала.

— А сегодня не восьмое марта, — насмешливо сказал Ленька.

— Есть на свете люди, — ответила мама Надя, — которые хорошо ко мне относятся всю жизнь, каждый день, а не только восьмого марта.

Вот так...

Мама Надя сидела с моряком на балкончике, и они о чем-то говорили, смеялись.

— Давай залезем на крышу, — предложил Ленька, — и будто бы упадем. Может, она пожалеет нас?

Мы вылезли через окно на крышу, сели у самого края. Мама Надя отлично видела, что мы рискуем жизнью, но ничего не сказала. Она вела себя так, словно нас не было не только на крыше, но и на свете!

А потом она сказала, чтобы мы готовили ужин, а она сейчас уедет в город и пойдет в театр смотреть веселую комедию.

Это было уже слишком, но мы промолчали.

Мама Надя надела свое лучшее платье, наше любимое платье — голубое с белым горошком.

— Какая ты красивая, — сказал моряк.

А мы и без него знали, что она красивая! Только не говорили ей об этом! Подумаешь, открытие сделал! Приехал тут...

Мы смотрели на моряка и старались улыбаться. Он был весь блестящий, чисто выбрит, на брюках — острые складки.

— Я больше в негра играть не буду, — шепнул мне Ленька, — а ты почаще брейся.

Мы проводили их до калитки.

— Ты придешь? — спросил Ленька, шмыгнув носом.

— Может быть, — весело ответила мама Надя.

Мы долго смотрели им вслед. Если бы вы знали, как нам было обидно!

До поздней ночи сидели мы на балкон-

чике и молчали. Видимо, мы получили по заслугам.

— Кортик у него, по-моему, не настоящий, — сказал Ленька.

— Нет, кортик у него настоящий, — возразил я.

— А может, он и не моряк, — сказал Ленька. — Бывают такие: форма морская, а моря и в глаза не видели.

Дачный поселок спал, одни мы не спали. Ждали маму Надю. И совсем нетрудно догадаться, о чем мы с ним думали...

АРХИП

Архип — это снегирь, симпатичнейшая птица.

Купили мы его случайно. Ходили как-то с Ленькой на рынок за картошкой. Идем обратно и слышим птичий гомон. Дело было в декабре, а тут свист-пересвист-чириканье, будто ранней весной, когда каждая живинка свой голосок пробует.

Смотрим: замерзшие мальчишки продают нахохлившихся в клетках птиц.

Спрашиваем у одного мокроносого продавца, сколько стоят его красивые щеглы.

— Пятнадцать штука, двадцать пять пара да за клетку пятнадцать, — протараторил мокроносый продавец.

Таких денег у нас не было.

Потом мы увидели в сторонке маленького человека в мохнатой шапке. В руках он держал клетку со снегирем.

Спросили мы, сколько стоит такая птица.

— За восьмерку отдам. Да за клетку десятку. Всего-навсего восемнадцать рублей.

Мы вздохнули и пошли прочь.

— Пятнадцать за все удовольствие! — крикнул продавец. — Почти бесплатно отдаю Архипа!

Тогда мы честно признались, что денег у нас одиннадцать рублей — две трешки и одна пятерка.

Продавец внимательно оглядел нас и спросил:

— Любить Архипа будете крепко?

— Еще как! — ответили мы.

— Берите мое счастье за две трешки и одну пятерку! — продавец махнул рукой. — Прощай, Архип! Плакать я буду без тебя дни и ночи.

— Почему же ты продаешь его? — спросили мы. — Почему же ты свое счастье за одиннадцать рублей продаешь? Неужели ты без денег жить не можешь?

— Не деньги мне нужны, — ответил продавец, — я и без денег счастливый человек. А только нету у меня никакой возможности свое счастье держать. Злые люди — соседи выжили его... Прощай, Архип!

Мама Надя не обрадовалась нашей покупке, сказала:

— Повернуться негде, а бы целый зоопарк принесли.

Мы долго искали место, куда бы поставить клетку. Проще всего было вынести ее на кухню, но там обитал страшный кот Влас, которого боялись даже собаки. Страшнее Власа была его хозяйка — наша соседка Анастасия Емельяновна. Она завидовала всем счастливым людям, если даже их счастье стоило всего две трешки и одну пятерку.

Больше всего на свете Анастасия Емельяновна любила ругаться. Выйдет утром на кухню, довольная, радостная, и рассказывает:

— Море я во сне видела. Стою на берегу

и с морем ругаюсь. Уж так я его отчехвостила!

Мы вспомнили слова продавца о злых соседях и повесили клетку над книжной полкой.

Дали Архипу клюквы. Возьмет он ягодку, высосет сок и как тряхнет головой — брызги во все стороны. Потом он запел грустные-прегрустные песни. Жалко нам его стало. Мама Надя открыла клетку. Архип вылетел, сел на шкаф и запел веселые песни.

Утром мы проснулись от его пения. Нам даже показалось, что комнатка стала выше и шире.

Архип завтракал вместе с нами — прыгал по столу, лузгал семечки, сосал клюкву да воду из блюдца пил.

Я уехал на завод, мама Надя — в библиотеку, а Ленька — в детский сад. Весь день я вспоминал о снегире, и работалось мне очень весело.

Вечером Архип встретил нас радостным пением. Сидим слушаем — хорошо!

Вдруг на кухне начался трам-тарарам, и раздался голос Анастасии Емельяновны:

— Измучили кота! Птицу развели! А кот волнуется! Нервный стал!

Теперь каждый раз, выходя на кухню, она устраивала трам-тарарам и громко жалела кота Власа. Мы помалкивали.

Когда я платил деньги за квартиру, домоуправляющий спросил:

— Что же это вы птиц на коммунальной

жилплощади разводите? Антисанитарией почему занимаетесь?

Я объяснил, что антисанитарии снегирь выделяет не так уж много, что...

— Не знаю, не знаю, — перебил домоуправляющий, подозрительно рассматривая меня, словно отыскивая следы снегиревой антисанитарии.

К нам явилась комиссия — целых шесть человек. Так как все сразу они не могли уместиться в комнатке, то заходили по трое и спрашивали, почему мы издеваемся над пожилой женщиной, матерью троих детей. Потом они писали акт, долго беседовали с Анастасией Емельяновной, убеждая ее, что пожилой женщине, матери троих детей, кляузничать стыдно.

— Есть на свете правда, — прижав к груди сонного Власа, отвечала она. — Много вас, бюрократов, развелось! Сегодня они птицу купили, завтра собаку приволокут, а послезавтра? А? Я со свиньями жить не хочу! — и выставила комиссию за дверь, да еще вдогонку пообещала: — И до вас доберемся!

Через несколько дней меня вызвали в завком и спросили, почему я издеваюсь над матерью троих детей.

Опять приходила комиссия, опять писали акт, опять уговаривали Анастасию Емельяновну не кляузничать, и опять она выставила комиссию за дверь, и опять кричала вдогонку:

— Есть правда на земле! Развелось вас, бюрократов, на нашу голову!

К счастью, Влас стянул у нас из супа курицу, и три дня мы жили спокойно. Я на радостях починил соседке электрический утюг, переменил шарниры у шкафа, в воскресенье сделал проводку для радио.

Архип распевал вовсю!

По вечерам он купался. Сначала он прыгал вокруг миски, потом садился на край и — в воду. Замрет и давай трепыхаться.

Пусть вместе с клеткой он стоил всего одиннадцать рублей, жить в его компании было веселее. И жалели мы продавца, который испугался злых соседей и расстался со своим счастьем.

Анастасия Емельяновна купила репродуктор. Ну, думаем, будет она теперь слушать радио и... Репродуктор гудел от напряжения. Архип забился в угол.

На кухне начался трам-тарарам. Соседка кричала:

— Подумаешь, образованные! Нарочно кастрюлю не закрыли, чтобы кот ихнюю курицу унюхал! Я знаю, сейчас они насчет радио зажалуются! А что, мне и радио послушать нельзя?!

Первой не выдержала мама Надя, сказала:

— Я так не могу. У меня голова болит.

— Надо сшить шапки с большими ухами, — прошептал Ленька, — и уши закрыть. Пусть себе кричит, а мы ничего не слышим.

Домоуправляющий посоветовал:

— В таких случаях лучше отступить. Сдайте вы свою птицу в зверинец.

Терпели.

Но жалко было Архипа, который даже есть перестал. Решили мы его выпустить.

— Куда же он зимой полетит? — заплакал Ленька.

Мама Надя прикрикнула на него, он заревел еще громче, я рассердился на маму Надю и выскочил из комнаты.

— Слушайте, — ласково сказал я Анастасии Емельяновне, — давайте перестанем. Пожалейте нас. Что мы вам плохого сделали?

Презрительно посмотрев на меня, соседка закричала:

— Я издеваться над собой не позволю! Думаете, если у вас образование...

Схватил я пустую трехлитровую банку и трахнул ее об пол. Влас со страху вспрыгнул на стол, и оттуда полетели миски и тарелки.

— Я тебе покажу! — кричал я. — Окна перебью! Ноги переломаю! Все провода оборву!

Что со мной приключилось, до сих пор не понимаю.

Тишина.

Слышу — запел Архип, сначала тихо-тихо, а затем все громче и радостней.

Анастасия Емельяновна посмотрела на меня с уважением и стала подметать пол.

ТОЛСТАЯ ТЕТЯ В ГОЛУБОМ ХАЛАТЕ

Есть такая песенка: «Надену я белую шляпу, поеду я в город Анапу».

И очень часто, устав от работы, мы вспоминали эту песенку, из которой знали всего две строчки. Анапа была для нас — неизвестно почему — символом жизни, пронизанной солнечным светом, теплым и беззаботным краем, где все люди добры и красивы, где есть море — то самое чудо природы, которое мечтает увидеть каждый и которого мы еще не видели.

Белую шляпу я купил зимой. Примерил — здóрово! Без шляпы я — самый обыкновенный человек, а надену ее — и появляется в моем облике что-то солидное, представительное.

Долго не могли мы собраться в Анапу, пока однажды не взглянули друг на друга и не решили: едем! Я отказался от нового костюма, мама Надя — от туфель, а Ленька дрожащим голосом заявил, что может прожить и без двухколесного велосипеда.

В поезде нам стало известно, что мы «дикие». Оказывается, так называют нормальных людей, если они едут на юг без путевок. Об этом нам сообщила толстая тетя в голубом халате. Сама она ехала в дом отдыха. Мы не стали ее расспрашивать, для

чего ей ехать в дом отдыха, ведь еще больше растолстеет! Пусть, не жалко.

— «Надену я белую шляпу...» — запел Ленька.

— А где шляпа? — спросила мама Надя.

Стали искать. Даже в чемодан заглянули. Пропала шляпа!

— Вот, пожалуйста, — сказала толстая тетя в голубом халате, — купированный вагон. В мягком вещи не теряются.

— Встаньте-ка, — попросила мама Надя.

Тетя поднялась, мы взглянули на сидение — шляпы как не бывало. То есть она была, но вида у нее уже не было. А у шляпы главное — вид.

Тетя чуть не расплакалась, предлагала нам деньги, свою шляпку, хотела записать наш адрес. Мы объяснили, что шляпы нам почти не жалко, выбросили ее в окно и помахали на прощанье рукой.

В Москве мы ловко сбежали от тети.

Надо ли рассказывать, как хорошо нам было! Мы долго стояли на Красной площади, смотрели на смену почетного караула у входа в мавзолей, прошлись по улице Горького, потолкались в арбатских магазинах и сели в поезд.

В купе с нами ехали студент и важный дядя. Студент у соседей дни и ночи играл в преферанс, и мы его почти не видели. Важный дядя смотрел на нас с презрением, будто мы были безбилетниками.

На крючке над его головой покачивалась

белая шляпа — точно такая же, какая была у меня, пока на нее не опустилась толстая тетя в голубом халате.

Весь день дядя спал с газетой в руках. Если она соскальзывала на пол, дядя моментально просыпался, ловил ее и мгновенно засыпал.

Мы уважали его до боязни и разговаривали шепотом. Стоило нам заговорить чуть погромче, как дядя открывал один глаз, и мы замолкали.

Усатая проводница покрикивала на всех пассажиров, а важный дядя покрикивал на нее, и она виновато кивала головой.

Анапа оказалась похожей на деревню, и не было в ней ничего особенного, кроме моря и солнца.

Сначала мы даже и не поверили, что перед нами самое настоящее море. Оно пахло водорослями и солью, глубиной и свежестью. Оно было разноцветное и живое. А мы были счастливыми.

— Я морем напился! Я морем напился! — восторженно кричал Ленька. — Честное слово, оно само мне в рот заскокнуло! Оно соленое!

К вечеру мы обнаружили, что нашим соседом был тот важный дядя, с которым нам пришлось ехать сюда в одном купе. Он — будто ни разу в жизни не видел нас! — прошествовал мимо, а мы даже поздороваться испугались.

Собачонка Чижик бросилась к нему с ра-

достным визгом, но дядя так посмотрел на нее, что она примолкла и виновато замахала хвостиком.

Дядя вынес во двор раскладушку, лег, развернул газету и захрапел — солидно, с достоинством.

Мы сидели в беседке под огромным раненым тополем. Ранило его осколком снаряда в войну. И хотя он не упал, хотя по-прежнему одевался листвой, большое дупло напоминало о его беде.

Над нами было густое небо. Невдалеке ровно дышало живое море.

— Он ведь тоже герой, да? — спросил Ленька, прижавшись к тополю и обняв его.

— Герои — это которые с орденами, — насмешливо ответил из темноты важный дядя. — А будь ты хоть весь в дырках...

— Пора спать, — перебила мама Надя и повела Леньку в дом.

А Ленька спросил:

— Этот дядя в дырках или нет? Как по-твоему?

Когда они ушли, я сказал:

— Зачем же вы при ребенке...

— И дети с малых лет должны правду знать, — проговорил дядя таким наставительным тоном, что я побоялся спорить.

С утра мы уходили к морю и возвращались поздно. Если Чижик встречал нас радостным лаем, мы знали: дяди еще нет дома, если Чижик виновато махал хвостом, значит дядя спал во дворе с газетой в руках.

Как-то я сидел в беседке один. Распахнулась калитка, ко мне нетвердыми шагами подошел дядя и плюхнулся рядом.

— Отдыхать надо без семьи, — заговорил он. — Что за отдых, я не понимаю, с детьми или женой? — От него пахло спиртным, и слова он произносил с трудом, будто боролся с ними. — У меня жена... — дядя загадочно округлил глаза, словно намереваясь сообщить тайну, — вот такой ширины... — и показал руками размеры своего собственного корпуса. — Королева Марго... — Он достал из кармана бутылку, налил в стакан. — Ну, будем здоровы и прочее... — выпил и облизнулся. — Не вино, а ситро. Вообще, безобразий у нас — куда ни ткнись, везде... — дядя выпятил мокрые толстые губы. — С водкой и то перебои бывают.

— Семья у вас большая? — спросил я, чтобы перевести разговор на другую тему.

— Семья? — он как-то странно хмыкнул или хрюкнул, будто его коротким ударом стукнули по горлу. — Семья... семья... — с одной и той же кислой интонацией повторял дядя. — Сын и две примадонны. Вот летом и отдыхаю... Живу! — Он хлопнул себя по широкой пухлой груди. Жесткие волосы на ней прокалывали шелковую рубашку. — Я вообще... — он плотоядно осклабился. — А что? Надо жить. Жить надо... Вот вы своего ребеночка от правды бережете. А зачем? Нет, я своим чадам говорю, что сволочь, она завсегда легче живет.

Казалось, что дядя не произносит слова, а жует их и выплевывает. Он, давясь, допил остатки вина, взял бутылку за горлышко и швырнул в сад.

— Это свинство, — сказала из окна мама Надя, — поднимите бутылку.

— Хозяин уберет, — сказал важный дядя. — Вы его не жалейте, спекулянта. Сидят на нашей шее фрукты-овощи... Вот вы, — он нагнулся ко мне, — вроде бы интеллигент, а на шляпу, на шля-пу заработать не можете! — и хохотнул, и ушел, ломая кусты.

Утром мы лежали на пляже и обсуждали, переезжать нам на другую квартиру или нет.

Вдруг слышим Ленькин голос:

— Здравствуйте, тетенька!

Смотрим: а это наша знакомая — толстая тетя в голубом халате.

— Завтра я уезжаю домой, — грустно сказала она, — вызывают на работу.

Ветер откинул полу халата, и мы увидели над коленом большой глубокий рубец.

— С войны осталось, — виновато сказала она, запахивая халат, и повернулась к морю.

А оно, живое и сильное, подползало к ее ногам. Здесь, у берега, оно было мутное, а там, где летали чайки, чистое, прозрачное — чудо природы...

ВЕТОЧКА

Я люблю видеть сны, такие, чтобы, проснувшись, закинуть руки за голову и долго вспоминать увиденное.

Только редко я вижу хорошие сны. Мама Надя объясняет это моей привычкой спать на левом боку. Дескать, сожмешь сердце, надавишь на него, тяжело ему биться, и сны от этого беспокойные.

Ленька спит и на левом боку, и на правом, и на спине, и на животе, а сны видит замечательные.

Приснилась ему, например, пальма. Будто жили мы в горячей Африке, воткнули в песок веточку, стали ее поливать, и выросла пальма, а на ней мартышки сидят, улыбаются.

— Мартышки тоже из веточки выросли, — сказал Ленька, — прямо как яблоки.

Посмеялись мы и забыли про этот сон. Но теперь, когда Ленька садился рисовать, на листе бумаги одна за другой появлялись пальмы. Были они длинные и разноцветные. Мартышки были круглые и тоже разноцветные.

Через несколько дней Ленька еще раз увидел во сне пальмы. Испуганно и удивленно рассказывал он:

— Вы подумайте: пальмы росли в снегу! В холодном снегу! Мартышек, конечно, не

было. Ни одной мартышечки. А пальмы были.

Кто его знает, может, Ленька и выдумал этот сон, выдумал и — поверил.

Вечером он ушел кататься на лыжах. Возвращался он всегда с шумом: хлопала дверь, раздавался стук упавших лыж, звенел радостный голос:

— Есть хочу!

А тут Ленька вошел тихо, и сам он был тихий. В руках он держал черную от угольной пыли палочку с засохшими листьями.

— Зачем ты принес эту грязь? — спросил я.

— Что ты... — прошептал Ленька. — Это же веточка. — В серых глазах его было изумление. — Это, конечно, не пальма, но она вырастет. Вот увидишь, у нее будут листья. Зеленые такие листочечки.

— Сейчас зима, — ответил я, — разве растут зимой листья? — И, чтобы не огорчать сына, добавил весело: — Вот когда мы будем жить в Африке или Анапе, тогда другое дело.

Ленька с сожалением покачал головой и, словно опасаясь, что я отберу у него веточку, стал снимать пальто, не выпуская ее из рук.

Он налил воды в бутылку из-под кефира и всунул туда веточку. Вода сразу стала темноватой, будто в нее капнули чернил.

Ленька, видимо, почувствовал мое неверие и сказал:

— Ну и что? Пусть не вырастет. Здесь

ей тепло. А в снегу холодно. Пусть хоть согреется. — Он переменил воду, поставил бутылку на стол и спросил: — Чья же она?

А это была веточка шиповника: на ней со всех сторон торчали острые шипики-коготки.

— Колются! Колются! — радостно кричал Ленька, трогая их пальцами. — Нет, они не дадут ее в обиду! — и посматривал на меня.

Сухие твердые листья пришлось оторвать — они отпадали при первом прикосновении.

Мама Надя ничего не заметила, когда пришла домой, и я сказал:

— Посмотри. Он уверен, что на этой палочке вырастут листья. Вот сейчас, зимой.

— Нет, — ответила мама Надя, — сначала появятся почки.

— А потом мартышки, — насмешливо добавил я.

Злая пурга шуршала по окну снежной крупой.

— Ты молодец, — сказала мама Надя Леньке, — молодец, потому что пожалел веточку. Поставь ее на подоконник к батарее. Там тепло и светло.

Мне было неловко перед ними, хотя я действительно не верил, что сухая веточка зазеленеет, да еще зимой.

А друзья мои верили. Они каждый день меняли воду, утром, едва проснувшись, Ленька бросался к окну.

Когда их не было в комнате, я внимательно разглядывал веточку и — жестокий человек! — думал: «Эх, друзья, напрасно стараетесь . . .»

Как-то утром Ленька не бросился к подоконнику. В этот день он не переменил воду в бутылке.

— Глупая ветка! — с отчаянием воскликнул Ленька. — Надо ее выбросить!

И даже мама Надя промолчала. Однако никто из нас троих не решался выбросить веточку.

А в окно стучалась пурга.

Приснился мне замечательный сон: будто бы наша веточка зазеленела! Проснувшись, я долго лежал, закинув руки за голову.

Ленька, как и я, спал на левом боку. Лицо у него было счастливое.

Он открыл глаза и — бросился к подоконнику.

— Спасибо, веточка . . . — услышал я.

Ленька осторожно взял бутылку двумя руками и поднес ко мне. Почки на веточке набухли, лопнули, в них виднелось что-то очень зеленое.

— Вот, — устало сказал Ленька. — А захотел бы, так и мартышки выросли бы. Девять штук.

За окном жалобно повизгивала пурга.

Тетрадь третья

ПЕТРОВНА

— Устиновна-а-а! — надрываясь, кричит старуха. Она стоит на крыльце избы, прислушиваясь, оттянув от уха платок. Ответа нет, и она снова кричит, от усилия приподнявшись на цыпочки: — Устиновна-а-а!

Молчит деревня, не откликается. Тогда старуха произносит спокойно:

— Будь ты проклята.

И садится на крыльцо, свесив голову, упершись в доски жилистыми пальцами, и широкие, острые плечи ее торчат, как крылья большой ощипанной птицы.

Пятилетняя Устиновна спряталась за сараем в огороде. Когда крики смолкли, она осторожно двинулась сквозь заросли крапивы, временами тонко, почти неслышно попискивая.

Старуха снова встает на крыльце и кричит:

— Устиновна!

Девочка уже стоит за углом избы, в трех шагах от бабушки и молчит. У нее бледное, незагорелое лицо, какие редко встретишь в деревне; прямые льняные волосы закрывают шею и на концах загибаются вверх; по середине головы от лба к макушке тянется прямой пробор — полосочка розовой кожи. Глаза у девочки голубые, пронзительные, не детские, будто она смотрит на что-то нехорошее взрослое и все понимает.

Держится Устиновна странно. Нет в ней юркости, как говорит бабушка. Явно кому-то подражая, девочка иногда делает что-то похожее на движения, какими женщины поправляют груди, или вдруг пройдется так, как ходят женщины — играя телом.

— Тьфу, пакостница! — сплюнет старуха, а Устиновна зальется смехом, сразу становится обыкновенной девочкой, и глаза ее смотрят с лукавым любопытством.

Невдомек старухе, что она сама надоумила внучку подобным проказам. Устиновне нравится наблюдать, как злится бабушка, а рассердить ее можно только вот этими фокусами.

Бабушка сидит неподвижно, будто дремлет, опустив веки. Они очень выпуклы и почти черны, загорелое лицо в белых морщинках.

Устиновна зажимает рот рукой, сдерживая смех, но он вырывается сквозь пальцы, и девочка убегает к сараю. Отхохотавшись, она возвращается обратно и снова наблюдает за старухой. Подойдя, Устиновна наклоняется к ее уху и что есть силы кричит, почти визжит:

— И-и-и!

Старуха вскакивает и успевает схватить внучку за руку, держит цепко, дышит громко, прерывисто, выговаривая с трудом:

— Погибель моя... змея подколодная... выродок...

Далее следуют самые отборные ругательства. Старуха произносит их без всякого вы-

ражения, будто читает неразборчивый текст. Затем она начинает бить Устиновну, но делает это неловко и без злости. Внучка увертывается от ударов и не плачет, а деловито подвывает. Изловчившись, старуха попадает своею сухой, но тяжелой ладонью по внучкиному заду, и тогда Устиновна ревет по-настоящему, громко, с удовольствием.

Выждав, старуха произносит удовлетворенно:

— Обедать пора.

И будто ничего не случилось, она гладит внучку по голове, девочка обнимает старуху одной рукой за ноги, и они идут в избу.

Насколько изба ветха и неприглядна снаружи, настолько добротна и аккуратна внутри — явный признак отсутствия в семье мужских рук. Некрашеные полы из широких досок здесь моются с песком, который растирается голиком — огрызком веника.

У порога старуха снимает лапти, а Устиновна ненадолго встает босыми ногами на влажную тряпку. Накрыв на стол, бабушка за руку подтаскивает девочку к переднему углу, где друг над другом сбились в кучку потемневшие иконы. Устиновна знает, что вслед за бабушкой надо прикладывать три пальца сначала ко лбу, потом к животу и к плечам. А самое интересное — поклоны. Кланяясь, девочка старается как можно громче стукнуться лбом об пол. Увлеченная молением, бабушка пока ни разу ничего не заметила.

Есть у девочки еще одно развлечение: она не просто прикладывает пальцы, когда молится, а чешет ими лоб, живот, плечи... Смешно!

После обеда они ложатся на полу, постелив старый тулуп, и бабушка начинает рассказывать про бога. Каждый раз Устиновна засыпает при первых же словах...

С нетерпением ждет девочка вечера, и чем ближе он, тем чаще выбегает она за ворота.

Мать приходит уже в темноте. Устиновна прижимается к ней, чувствуя, какая она большая и горячая, сильная. Дочь старается удержать ее на улице, чтобы мать не входила во двор. Мать и сама не торопится. Долго стоят они перед воротами. Вздохнув, мать подхватывает Устиновну одной рукой под коленки и несет.

Старуха ждет их на крыльце и не говорит, а шипит:

— Пришла, шушера...

Мать улыбается виновато, Устиновна показывает бабушке язык. Она не любит старуху только за то, что та свирепеет при одном упоминании имени своей дочери. Детский ум Устиновны не может разобраться в том, почему большая, сильная мать покорно переносит все обиды.

А старуха ворчит и ворчит:

— Блудница... распустила вожжи... бойся бога-то... держи себя... не охоться..

Лишь изредка мать отвечает:

— Нету бога, значит и греха нету.

— А это? — И Устиновна чувствует в темноте, что бабушкин палец направлен на нее. — Грех! Грех! Молись...

Мать лежит рядом с Устиновной на спине, раскинувшись, будто на поле, и все ее жаркое тело дышит.

— За что она тебя? — спрашивает Устиновна.

Но мать не отвечает — спит. Грудь ее тяжело и плавно вздымается, словно камень лежит на ней.

Ничего еще не понимает дочь и — счастлива поэтому. Не знает даже, почему бабушка зовет ее Устиновной, хотя по документам она Петровна.

В страшные военные годы, когда в деревне не осталось ни одного мужика, появился однорукий солдат Устин. Дело прошлое, чего греха таить, оставил он у нескольких вдов и девок по ребенку и исчез куда-то.

Вот и звала старуха свою внучку Устиновной, хотя родилась она после войны и был у нее отец — городской шофер, приезжавший в колхоз на уборочную.

Ничего не обещал он Арине, ничего даже не говорил, просто останавливал грузовик ночью во дворе, ел, пил, спал, а утром отправлялся в путь.

В город он уехал, не простившись. Кабы плакала Арина, кабы жаловалась да проклята бы себя вместе со своим грешником,

да десятка рублей на божьи свечки не пожалела, молчала бы старуха.

Арина же гордо живот носила, улыбалась.

Когда родилась Петровна, старуха кричала:

— В руки не возьму! Грех! Отсохнут руки-то!

— А чего? — тихо и непонятливо спрашивала Арина, ласково подставляя большую налитую грудь к маленькому личику дочери. — Человека родила. Рази грех — человека родить?

— Грех!

— Не-е... еще рожу... мальчонку рожу...

— От кого?

Вздыхала Арина и отвечала:

— А хоть от кого. Все одно мой будет. — И даже в голосе ее было это желание, будто и не мучилась муками, рожая, будто и не ведала, что грешит, а доброе дело делала.

Полюбила старуха внучку, но не рада была своей любви: с укором смотрели потемневшие лики святых, молчали, пугали. Ох, недовольны были!

Однако совсем было свыклась бабушка со своим горем, но опять Арина стала ночами уходить из дому, возвращалась под утро и будто светилась вся.

Увела дочь в огород, прижала к себе, выдохнула теплым голосом:

— Братик у тебя будет... хороший такой братик...

— Когда?

— К весне. В сельпо куплю.

Устиновна не спала, ожидая мать. А та идет, издалека слышно — песни поет.

Скрипнула дверь.

— Бог-от все видит! — кричит старуха.

— Нету для меня бога, — радостно отзывается мать, — нету. А если есть, плевала я на него. Живая я. На — пощупай, какая.

— Тьфу!

Арина громко и хорошо смеется, говорит напевно:

— От моих грехов люди родятся. Рази плохо это? Спроси-ка у них, — она показывает на иконы и снова смеется.

— Из избы уйду, — старуха стучит костлявыми пятками по полу, — прокляну...

Арина опрокидывается на постель. Устиновна шепчет:

— А почему в сельпо братика хорошего родить будешь? Боишься здесь?

— Не боюсь. Спи, Петровна...

— Умру вот, — бормочет старуха, — в сраме умру...

— Все помрем, — сонно отвечает Арина, — а они жить останутся... Спи, Петровна...

И Петровна крепко и сладко засыпает, положив голову на мягкое плечо матери.

Шурка оделась быстро. Вот только что она металась по комнате непричесанная, в коротком халатике на одной пуговице, и вдруг Настя увидела, что подруга уже в платье, в резиновых ботиках, а розовые руки заканчивают укладывать прическу из густых рыжеватых волос.

Она стоит перед зеркалом, невысокая, круглая, горячая, дышит громко. Губы у нее пухлые, крупные; вздернутый широкий нос придает лицу чуть глуповатое выражение, которое усиливается еще и тем, что Шурка нещадно красит брови — получаются подковообразные линии одинаковой толщины с обоих концов. Красить губы Шурка не решается, хотя каждый раз берется за тюбик помады и, вздохнув, откладывает его.

— Ох, и здоровая я, — жалобно говорит она и с ненавистью, с брезгливостью даже взглядывает на свою грудь. — Кому ничего не досталось, а мне вот отвалил господи, хоть на троих дели... И тут! И тут! И там! — она сильно хлопает себя по телу. — И ведь ем-то не больше других... Ну ладно, ладно, — угрожающе продолжает она и, налив в ладонь цветочного одеколона, снова хлопает себя, но уже бережно. Комната наполняется приторным запахом сирени.

Настя сердится, но молчит. Она ста-

рается не обращать на подругу внимания и шепчет химические формулы.

А Шурка втирает ваткой пудру в наливные красные щеки и говорит, говорит:

— Сколько я обид из-за этого стерпела! И как только не обзывают! Булка, батон, тумбочка, — деловито перечисляет она, — бочка, дыня, арбуз, пищетрест... За что страдаем? — с пафосом спрашивает она и глубокомысленно отвечает: — Всё за то же.

Она одевается в мохнатую полудошку и становится похожей на медвежонка.

Шляпка у нее с пером. Оно все время опускается и закрывает Шурке левый глаз. Она воюет с ним, тяжело отдуваясь, и, наконец, заправляет перо под шляпку, победоносно взглядывает на подругу.

— Красоты у тебя... — насмешливо произносит Настя.

— Килограмм сто, — серьезно добавляет Шурка. — Сказывают, если на голых досках спать, похудеешь в один момент. Так я что, дура? Перину в прошлом году купила, а теперь...

— Иди, иди, — просит Настя.

— Лечу! — Шурка попеременно придает лицу то гордое, то лукавое, то презрительное выражение, поворачивается к выходу, и конец пера снова выскакивает из-под шляпки.

— Оборви ты его, — советует Настя.

— За него деньги плачены, — бормочет Шурка. — Без перышков все носят. А с перышком у меня да у Зинки из шестой сто-

ловой. — Она укрепляет перо прежним способом и ударом колена открывает дверь.

Оставшись одна, Настя откладывает учебник и вытягивает длинные стройные ноги, положив их на спинку кровати.

Вечерами Насте всегда грустно немного, но грусть эта светла и даже приятна. Она приносит с собой такие мечты и желания, о которых Настя никому не рассказывает. Легко быть на людях холодной и гордой, а вот когда одна, хочется, чтобы приласкали по-настоящему, по-мужски.

Потом Настя подходит к зеркалу и встает на то самое место, где недавно стояла Шурка, разглядывает себя в зеркале. Она высока, тонка. Серые, с зеленоватыми искорками глаза смотрят грустно.

Иногда Настя кажется себе красивой, но уверяет Шурку, что главное в девушке душа, характер.

— Блажь! — кричит в ответ Шурка. — У меня мать вроде профессора была, все понимала, добрая была — дальше некуда, а толку? Муж попался — не приведи господь. А Зинка из шестой столовой? Ворует — раз, дура набитая — два, сплетница — три... — и Шурка один за другим загибает все десять пальцев. — Так ей в один день трое предложение сделали. Потому что у нее фигура! А у меня?! — и она так бьет себя кулаком в грудь, что кулак отскакивает. — У меня душа, знаешь, какая! А толку?

Насте и смешно, и горьковато слышать это. Шуркины доводы все-таки действуют.

— Ты на танцы ходи, — страстно нашептывает она, — тары-бары разные, то да се... Книжки тут не помогут. В вечерней школе этому не научат.

Каждый раз подобные разговоры заканчиваются тем, что Настя раскрывает учебник, а Шурка топает в клуб.

Вот и сегодня Настя зубрит формулы.

Над ее кроватью висит на голой стене расписание уроков. Постель плоская — мочальный матрац, подушка казенная — маленькая, тонкое серое одеяло.

Над Шуркиной кроватью — глаза разбегаются, сколько всякой всячины прибито, приклеено, навешано. Тут и артисты, и цветочки, и птицы-звери, а в самом центре обнаженная красавица из старинного журнала, которую Шурка сама раскрасила сообразно своим представлениям о женской красоте. Брови у красавицы черные и широкие, губы красные и толстые, коричневые глаза вылезли из орбит.

На кровати пышная перина, покрытая толстым одеялом с узором из разноцветных треугольников, шесть подушек — целая пирамида.

Комсорг буровой конторы Федя Локтев, близорукий, застенчивый паренек, в которого Шурка тайно влюблена уже не первый год, пытался намекнуть ей, что от красавицы из старинного журнала попахивает буржуаз-

ным влиянием, и даже пригрозил конфисковать рисунок своими собственными руками.

Шурка заявила, что от красавицы пахнет всего-навсего мучным клейстером, буржуазия тут ни при чем, и что если у нее, у Шурки, красавицу отберут, то она себе такого красавца повесит, что он, Федя, ахнет.

Федя ахнул и больше на эту тему с Шуркой бесед не имел. Она, желая закрепить победу, выкрасила красавицу с головы до ног в оранжевый цвет.

Думая о Феде, Настя повышает голос, чтобы сосредоточиться на формулах...

Шурка, конечно, вернется поздно, сразу разденется и с куском хлеба и сахара залезет под одеяло. Утром Настя увидит, что лицо подруги искажено страдальческой гримасой — спит на огрызке сахара или хлебной корке.

Чтобы отогнать мысли о Феде, Настя читает формулы нараспев. Говорят, что влюбляются чаще всего друг в друга противоположные натуры, и, если верить этому, Шурка не зря однажды простонала во сне: «Феденька-а...» Правда, Федя Федей, а на танцы она бегает и может на память перечислить — кто, когда и как на нее посмотрел, как держал во время фокстрота (любимый Шуркин танец). А Настя любит вальс, танцует, закрыв глаза, и только с Федей.

Настя повторяет формулы, уже не глядя в учебник, и на душе у нее становится радостно.

А вдруг Шурка права? Работает себе кассиршей в столовой, высунув от усилия язык, пишет чеки, ругается, хохочет, с работы приходит веселая и — на танцы. Настя работает лебедчицей, весь день на жаре, или на морозе, или под дождем, к вечеру еле ноги переставляет и вместо танцев — уроки.

Под окном яростно заскрипел снег: топает Шурка. Настя поднимается ей навстречу удивленная: что так рано?

Глаза у подруги полны слез. Она швыряет шляпку на кровать, вслед туда же летит полудошка. Шурка срывает с ног туфли, пинает их под кровать и, задрав платье выше черных трусов, расстегивает резинки, стягивает чулки.

— Порвешь, — испуганно говорит Настя.

— И порву! — всхлипывает Шурка, растирая руками багровые от мороза ноги. — Наплевала я на них девяносто шесть раз! — Она одергивает платье и спокойно произносит: — В общем, было дело под Полтавой. Организуй-ка мне кипяточку душу согреть... Подошел он это ко мне, очки наставил и ка-ак трахнет: «Вечно ты по танцулькам!» А он, видите ли, в читальный зал пришел. И куклой еще меня обозвал. Сидишь, говорит, в своей кассе без стыда, без совести. На тебе, на мне то есть, — уточняет Шурка, — бурильные трубы возить можно, а ты стул давишь... Эх, Федор... В очках, а души моей не понимает. Хотела я ему про любовь свою сказать, да... А тебе

привет. Я по дороге так решила: тоже читать буду. Порошков каких-нибудь наглотаюсь, чтобы ко сну не тянуло, и будь здоров! Ты мне подбери что-нибудь веселое.

Забравшись под одеяло, Шурка принимает озабоченный вид и раскрывает книгу.

Настя, прижавшись грудью к столу, чтобы угомонить подпрыгивающее сердце, ласково шепчет формулы и неожиданно вздрагивает от стука упавшей на пол книги.

Во сне Шурка громко и обиженно посапывает.

Настя целует ее в щеку.

ВРАГ ДУШИ МОЕЙ

Бывает, что в саду отцветут все вовремя распустившиеся цветы и останется один, с приоткрывшимся бутоном. А когда все остальные цветы будут сорваны, стебли их поникнут под едва уловимым дыханием осени, этот цветок вдруг вспыхнет.

Почти в тридцать лет Инза казалась восемнадцатилетней. Она знала, что очень красива, но в черных ее глазах радость была перемешана с иронией.

Я приготовился испытать все муки и блаженства безответной любви. Инза была для меня совершенством и не внушала ничего, кроме восторга, без малейшего признака чувственности. Одевалась она со скромной изысканностью, что свидетельствовало о природном вкусе. Вся она была необычной, как ее имя.

Умная, отличная журналистка, Инза была для нас чем-то вроде источника духовного света. К ней в кабинет заходили не только по редакционным делам, но и просто так — посмотреть на нее, набраться вдохновения. Многим из нас достаточно было взглянуть на Инзу, как работалось легче и лучше. Каждый из нас думал: «Совсем неважно, что она меня не любит, важно, что она — вот такая — существует». Мы поклонялись ей, не ревнуя друг к другу, счастливые тем, что дышим одним с ней воздухом, видим ее, слы-

шим. Она казалась нам созданной для большой, необыкновенной любви.

Не ведаю, за какие несуществующие достоинства Инза приблизила меня к себе чуть побольше, чем остальных, ловивших ее взгляда. Я не обрадовался, отлично понимая, что, так сказать, при ближайшем рассмотрении Инза обнаружит заурядность моей натуры.

В редакции я занимал самое скромное положение, потому что хорошо писать еще не научился, но уже начинал понимать, что пишу плохо.

А рядом с Инзой стыдно было быть незаметным, хотелось стать настоящим человеком.

Чувство мое было бескорыстно: появись рядом с ней человек, которого бы она полюбила, я бы склонился и перед ним.

Была вечеринка, веселая, шумная, какая-то интимно-настороженная. Мы все, холостые и женатые, молодые, не знали, что делать с переполнявшим нас желанием любить.

Я грустил, потому что именно в этот вечер понял: от Инзы мне не уйти, ради нее я готов на немыслимое.

Инза была одета в черное платье с узким длинным вырезом на груди, открывавшим кусочек смуглой, золотистой кожи. Черные волосы с крупными локонами небрежно падали на плечи — узкие покатые плечи.

Как бывает в молодости, я выспренне и витиевато думал, что вот она, моя любовь,

единственная во всей Вселенной женщина, кроме которой никто не может сделать меня счастливым. Мне хотелось понять Инзу, заглянуть в ее таинственную и, конечно, красивую душу.

Да, забыл сказать, что один человек в редакции презирал Инзу. Это машинистка Раечка, пухленькое, розовощекое созданьице, милое и доброе. Она училась в вечерней школе, и мы всей редакцией помогали ей готовить уроки. Когда мы заметили ее презрительное отношение к Инзе, то, не сговариваясь, перешли на официальный тон.

И вот на вечеринке кто-то начал рассуждать о любви. Инза слушала внимательно, но потом насмешливо скривила тонкие губы и тихо сказала:

— Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви.

Стало тихо, никто не мог понять, шутка это или что-то другое. Инза поднялась, и голос ее зазвенел, будто она звала:

— Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его...

— Красиво как! — раздался шепот.

Раечка рассмеялась.

Смех прозвучал резко, вызывающе. Все молча смотрели на Инзу, ожидая, что она сделает. А она сказала:

— Люди придумали много красивых слов, чтобы прикрыть ими грязь.

— Ты врешь, — тихо проговорила Раечка, вся порозовев, даже обнаженные по локоть руки ее порозовели. — Просто ты сама такая.

Инза и головы не повернула в ее сторону.

— Ты просто сама такая, — громко повторила Раечка, — строишь из себя...

Это было святотатством, и я оборвал:

— Знаешь...

— Знаю, — спокойно ответила Раечка, — больше всех вас знаю, хоть вы и с высшими образованиями.

Раечка ушла. Нам было неудобно перед Инзой, а она — будто ничего и не случилось — сидела и задумчиво рассуждала о несовершенстве жизни, людской черствости, неблагодарности и несправедливости, о том, что так называемой любви не существует, люди заменили ее определенными физиологическими отношениями, что верить никому нельзя.

До меня плохо доходил смысл слов, я слушал ее голос, смотрел...

В тот вечер я впервые пошел ее провожать. Долго мы молчали, прежде чем я набрался смелости пробормотать, что жизнь может быть какой угодно, но каждый человек может жить честно.

— Чудак, — ответила Инза снисходительно и ласково, — жизнь совсем не такая, какой она тебе кажется... Поцелуй меня.

— Зачем? — испугался я.

— Просто так.

— Но...

— Ах, эти вечные «но»! На каждом шагу! Мне душно от них! Противно!.. Вот ты можешь полюбить такое ничтожество, как я?

Пока я делал попытки опровергнуть ее мнение о себе самой, Инза продолжала:

— Предположим, полюбишь. А я брошу тебя. Или ты бросишь меня.

— Ни за что!

— Чудачок... — она поцеловала меня — прикоснулась к моей горячей щеке холодными губами, а я бормотал, ничего не соображая:

— Нет, нет, ни за что... никогда...

Короче говоря, через несколько дней мы стали жить вместе, скрывая нашу связь даже от друзей. На мои робкие предложения жить по-человечески Инза отвечала:

— Как только я стану твоей женой, сразу надоем. Закон жизни.

Все, что она говорила, казалось мне тогда убедительным, и жизнь словно повернулась ко мне другой стороной. Чтобы оправдать свои грехи, я вслед за Инзой повторял, что в этом виноваты не мы, а жизнь. Вместо того, чтобы в муках писать острые статьи, я твердил, что «в этой жизни» вперед лезут бездарности, приспособленцы и закрывают нам, честным талантам, дорогу. Думать так было удобно.

Я никогда не подозревал, что во мне столько злости. Меня злило и раздражало буквально все.

— Ты был совсем не таким, — сказала мне однажды Раечка.

Да, я и сам стал замечать это. Заметил я и то, что чувство мое к Инзе отдает чем-то болезненным. Нет, не о такой любви я мечтал...

Как-то вечером я сидел в кабинете один, ждал, когда перепечатают рукопись. Вошла Раечка.

— Ты теперь неразборчиво пишешь, — тихо сказала она, протягивая рукопись; улыбнулась ласково и ободряюще, как улыбаются больному, когда ничем не могут ему помочь.

Я улыбнулся в ответ, и на душе у меня впервые за последние месяцы стало легко и радостно. Но появилась Инза, и Раечка ушла. Инза сказала:

— Толстячка безумно влюблена в тебя. Вот когда я тебе надоем...

— Хватит! — оборвал я. — Не нам с тобой о ней судить!

— О... — удивленно и обрадованно прошептала Инза. — Все идет своим чередом. Ты уже начал кричать на меня. Прекрасно.

— Такова жизнь, — насмешливо ответил я.

— Да, — серьезно согласилась Инза.

Вряд ли я нашел бы в себе сил порвать с ней, если бы не один случай.

Редактор вручил мне коротенькое, в несколько строк, письмо комбайнера и приказал срочно подготовить его для печати.

Я расставил знаки препинания, придумал заголовок, но редактор отчитал меня за не-

умение работать, за пренебрежительное отношение к авторским письмам и, передав поручение Инзе, сказал:

— Посмотри, поучись.

Мне было стыдно читать, что натворила с заметкой Инза. Из нее она взяла цифры и строк сто написала сама!

«Широки, необъятны колхозные просторы, — читал я, — когда стоишь за штурвалом комбайна, кажется, что плывешь по морю...»

— Чудак, — отвечала на мои возмущения Инза, — так делают все, такова жизнь. Если бы не я, другой бы насочинял то же самое. Ты что, не знаешь нашего редактора?

— При чем здесь редактор? Ты сама...

— Отстань. Наивность — все же не признак ума.

Мне было очень тяжело в тот вечер. Я бродил по улицам и с удивлением вспоминал все происшедшее, а к утру решил, что уеду в «прекрасную страну Собкорию», как у нас называли работу собственного корреспондента в районе. Я верил, что свежий ветер выдует из моей головы всю дурь.

Инза на прощанье разыграла из себя несчастную жертву, рыдала, что-то кричала.

Перед поездом я зашел к Раечке. Она протянула мне руку, сказала спокойно:

— Пиши разборчивей. Раньше у тебя был хороший почерк.

ДВЕ ЧАШКИ КОФЕ

Тогда, сразу после войны, трудно было жить — продукты выдавались по карточкам.

Борька Гурфинкель, мой лучший друг, учился в одном из ленинградских институтов, и его мать Ксения Антоновна жила впроголодь, чтобы к приезду сына на каникулы иметь запас еды. Борька, что называется, отъедался и уезжал. Мы оставались на перроне, я ждал, пока выплачется Ксения Антоновна. Потом мы пешком тащились через весь город (ночью трамваи не ходили). Дома, засыпая, я слышал приглушенные рыдания. Вот так было, а Борька считал свою мать человеком с будто бы железными нервами. Он-то ни разу не видел ее плачущей.

Однажды мы вернулись с вокзала под утро и настолько устали, что долго сидели молча, вытянув ноги. Хотелось есть, но не было ни крошки хлеба.

— По чашке кофе еще осталось, — сказала Ксения Антоновна. — Сразу будет легче.

Кофе я выпил залпом и лишь тогда заметил, что на столе нет второй чашки. Ксения Антоновна виновато улыбнулась и развела руками.

Ложиться спать уже не было смысла, и мы разговаривали о Борьке. Странно: когда он был рядом, Ксения Антоновна боготворила его, а когда он уезжал, повторяла:

— Не то... не то...

Борька тогда был влюблен и страдал, потому что чувство его осталось без ответа. Точно такая же история происходила со мной, но я больше переживал за друга: Борькина страсть казалась мне выше, сильнее и благороднее.

Поэтому я защищал Борьку, а Ксения Антоновна отрицательно качала седой головой.

Она почти всегда была в стареньком темно-коричневом платье, с глухим воротничком, с кармашками на груди. Глаза у нее отечные, но лицо гладкое, почти без морщинок.

Такой она осталась, когда сын стал уже Борисом Абрамовичем, начальником технического бюро цеха большого машиностроительного завода. Мы гордились Борисом.

У меня была знакомая студентка медицинского института Сонечка, высокая, смуглая южанка. Красивая и холодная, к представителям противоположного пола она относилась абсолютно равнодушно. Это я испытал на себе и, еще не успев влюбиться, понял, что Сонечке просто надоело с утра до вечера ощущать восторженные взгляды. Вокруг нее всегда крутилось больше десятка молодцов, один лучше другого, и никто не добился успеха. Я был при ней чем-то вроде пугала, защиты от ухаживаний. Сначала это мне было даже приятно.

Сонечка могла часами молчать: поставит перед собой зеркало, смотрит в него и молчит.

Но она была так красива, что и я мог часами молчать с ней рядом.

Держалась она удивительно вяло, словно только что проснулась, ничего и никого не видела вокруг. И лишь в магазинах Сонечка оживала — нервничала.

Скоро мне надоело быть при ней, тем более что я познакомил Сонечку с Борисом, и он не скрывал радости, увидя, что я собираюсь домой и оставляю их с Сонечкой молчать вдвоем.

Навещая Ксению Антоновну, я засиживался допоздна, однако Борис приходил еще позднее. Мне не терпелось узнать, что у них там происходит, но Ксения Антоновна была осведомлена не больше меня.

В субботу я засиделся дольше обычного. Пришел Борис, будто не заметил нас, остановился перед зеркалом, расчесал свои белокурые волосы, сказал мечтательно, удовлетворенно:

— Вот...

Лицо Ксении Антоновны исказилось страдальческой гримасой — поняла, что случилось, но спросила деланно веселым тоном:

— Зарплату получил?

— Зарплаты, мамочка, почти нет, — со смехом ответил Борис. — Купил Сонечке часы... Как-нибудь выкрутимся. Надеюсь, ты...

— Надо полагать, она довольна?

— Вы не представляете. Она... — он ос-

торожно прикоснулся пальцами к своей щеке, — она поцеловала меня.

В общем, пахло свадьбой.

А тут пришла весть, что Бориса направляют на постоянную работу в МТС.

— Как же Сонечка? — спросил я, потому что этот вопрос был в глазах Ксении Антоновны.

— Поеду, устроюсь, — хмуро ответил Борис, — тогда и сделаю предложение.

Мы с Ксенией Антоновной в один голос заявили, что если на то пошло, то предложение надо делать сейчас (я был уверен, что Сонечка в колхоз не поедет). Но Борис предложил Сонечке руку в тот день, когда стало точно известно, что он остается на заводе.

И снова в комнате Ксении Антоновны все стало примерно так, как несколько лет назад: пустота и ожидание. Длинными вечерами мы сидели и молчали, а взглянув друг на друга, произносили:

— Не то...

Много слез утекло с тех пор.

Иногда ненадолго забегал Борис, шумно рассказывал о своих производственных успехах, перечислял подарки, которые сделал жене. Еще реже приходила Сонечка, красивая, конечно, но уже не та, что в студенческие годы, тогда она была пленительней.

Борис похудел — результат так называемых приработок, а проще говоря, шабашек.

Стороной я узнал, что Сонечка бросила учебу. Долго я не решался сообщить об этом

Ксении Антоновне, а когда собрался, то застал ее с Борисом в разгар ссоры.

— Почему она Воронова, а не Гурфинкель? — спрашивала Ксения Антоновна. — Ведь она вышла замуж за Гурфинкеля!

— Это ее право, — раздраженно отвечал Борис, — законное право.

— Я была в свое время Огородниковой, вышла замуж за твоего отца и взяла его фамилию. Мать прокляла меня. Еще отец заметил у тебя это... понимаешь?

Затем пришло радостное известие — родилась Машенька. Ксения Антоновна спрашивала меня:

— А какая будет у нее фамилия?

Сына об этом она не спрашивала.

По-прежнему при нем она не плакала.

Однажды у меня кончилось кофе, денег не было, и я отправился к ней.

— У меня ни зернышка, — сказала Ксения Антоновна. — Подождем до зарплаты.

— Эх вы, кофейные души! — воскликнул Борис. — У меня в сумке на заварку наберется. Вчера из кулька высыпалось.

Ксения Антоновна сидела сумрачной, неподвижной, лишь изредка словно хваталась за горло — поправляла воротничок темно-коричневого платья. Я понял: опять здесь ссора.

Каждому досталось по чашке жидкого кофе. Борис выпил свою порцию залпом и прохаживался по комнате. Я раздумывал: то ли

он ищет повода уйти, то ли ждет, когда я уйду.

Молчали.

Проходя мимо буфета, Борис локтем задел сумку. Она наклонилась, и на пол застукали кофейные зерна, полились ручейком.

Борис захохотал, стал собирать зерна, объясняя, что кофе он купил соседке, а она такой человек, что не поленится проверить вес.

— Конечно, конечно, — бормотала Ксения Антоновна, — собери все до зернышка... чтобы не было лишних разговоров. Поцелуй внучку, она ни в чем не виновата...

И лишь когда хлопнула дверь, Ксения Антоновна расплакалась.

Кофе я допил уже холодным.

Брился Коровин остервенело, крякал от боли, матерился вполголоса, но твердая рыжая щетина плохо поддавалась бритве. Он тряс большой головой на тонкой жилистой шее, из которой остро торчал кадык, тер подбородок широкими мозолистыми ладонями.

— Рубаху!

Манефа, его жена, в широкой юбке, скрывавшей формы сухого тела, подала косоворотку. Натянув ее, Коровин взглянул в зеркало. В тяжелой резной раме оно висело с наклоном от стены, и низенькая кривоногая фигура Коровина выглядела в нем еще ниже, еще кривоногее.

— Налей-ка, — попросил он, и когда жена подала стакан, сказал себе: — Ну, будем здоровы! — процедил сквозь зубы мутную брагу и вытер рот рукавом.

В кухне Коровин надел старый полушубок, порванный во многих местах, с вылезшими клочками шерсти, ноги всунул в залатанные, подшитые брезентом валенки.

— Петя, — жалобно позвала жена, — пойду я, а?

— Проверь сундук, — сказал Коровин, подпоясываясь веревкой. — Сон приснился мне, будто моль валенки жрет. Сыпни нафталину.

— Все бабы идут, все, а я... — и Ма-

нефа умолкла, увидев, как сжались сухие, бескровные губы мужа.

Гулко хлопнула, как крышка у погреба, дверь. Манефа выпрямилась, туже затянула узел платка, закрывавшего лоб по самые брови, и подошла к огромному кованому сундуку.

Гитарным перебором прозвенел замок, с визгом скрипнули ржавые шарниры, и на женщину дохнуло плотным, слежавшимся запахом.

— Добра-то, добра-то сколько, — удивленно прошептала Манефа, — носить не переносить...

Медленно, будто машинально доставала она и раскладывала на полу вещи: пальто, полупальто, плащи, валенки, костюм, сапоги, сапожки, платья — все новое, ненадеванное. Вот уж и ступить некуда. Манефа, вытянувшись, замирая от страха и удовольствия, ходит прямо по добру, из угла в угол, из угла в угол. Ей становится не то жарко, не то душно. Она срывает с головы платок. Рассыпаются густые волосы. Широко шагает Манефа.

Резко остановившись, она берет шубу, встряхивает, и блестки нафталина подобно снегу усыпают пол. С брезгливой усмешкой кладет Манефа шубу в сундук и вдруг, сразу обессилев, опускается на пол.

Открыть бы ясным утром сундук и увидеть, что все добро сгнило! Или выбросить бы его в осеннюю грязь и трактором пере-

ехать! Чтоб пустым этот сундук был, как тогда, когда Коровин привел ее к себе в избу, молодую, поначалу пугливую от мужской близости. Стыдливый тогда он был, краснел, помнится, если жена звала средь бела дня, приманивала, хохоча, сама удивляясь своей смелости, ласковый, помнится, был.

А теперь сидит она на добре, вспоминает, как у мужа во сне губы шевелятся — считает, должно быть, пересчитывает. Уж лучше бы зазнобу, что ли, приобрел да одаривал, а то всё в сундук, в сундук, в сундук!

Перед людьми бедным прикидывается, а дома от нафталина кашляет. Давно уж без радостей живет, завистью одной кормится. Только и заботы: купить бы чего-нибудь и в сундук, как в нору.

И виделось Манефе: полыхает изба ярким пламенем, лезет Коровин прямо в огонь, хватается за сундук, тянет. Сундук ни с места. Коровин зубами в ручку... Выскакивает из огня обгорелый, к груди валенок прижимает. Дымится полушубок. Манефа смеется, целует мужа.

Кто-то постучал в окно. Манефа тяжело поднялась, прислушалась. Не велит ведь Коровин никому добро показывать!

Манефа закрыла дверь в комнату и впустила в кухню Матвеича, сторожа из правления.

Матвеич повел длинным носом, унюхал запах, гоготнул:

— Хорошо попахивает!

— Чего надо?

Матвеич становится серьезным, вытягивает руки по швам, докладывает:

— Велено звать тебя на собрание. Секретарь райкома приехал. Разных начальников много. Велено всех членов колхоза собрать.

— Так ведь я... — бормочет Манефа. — Так ведь мне...

— Знаем, знаем, — сочувственно вздыхает старик, — не дает тебе твой мужик активничать.

У него редкая белесая бородка и детские голубые глаза. Опершись плечом о косяк, он свертывает цигарку, говорит нарочито небрежным тоном:

— И опять же кинокартина новая. Это, значит, после собрания. Культобслуживанием называется... Ну если, то...

— Ты сядь, — предлагает Манефа, угрюмо глядя куда-то мимо. — Бражки налью.

— Не откажемся, не откажемся. Бражка у тебя завсегда того... с характером.

Прежде чем выпить, Матвеич закатывает глаза к небу, придав лицу смиренное выражение, тянет брагу сквозь плотно сжатые губы, облизывается и говорит ласково:

— Хороша... Так ты чего? Сиди. Чего ты на собрании не видела? До утра, полагаю, беседовать будут. Да и не след своего мужика забижать. Не хочет, ну и не надо.

Манефа наливает ему второй стакан. Выпив, Матвеич хмурится и неуверенно рассуждает:

— И опять, какое у него законное право нарушать конституцию? Курица, она, конечно, не птица, но баба — это женщина. А женщина, между прочим, это человек. Член колхоза... — снова унюхав запах, он косит глазами на дверь в комнату.

— Посмотри, — с хмурой решительностью предлагает Манефа.

Матвеич срывается с места.

— Сельпо! — восторженно кричит он из комнаты. — Промтовару-то!

Он охает, крякает, щелкает языком и, выйдя на кухню, благоговейно шепчет:

— Добришко... хорошее добришко... а помрете? Куды все денется? А?

— Пей.

В два глотка осушив стакан, старик произносит:

— Добрецо, оно человеку силу дает. Личная собственность граждан охраняется законом... Но я тебя спрашиваю! — кричит он. — А помрете? Тогда что? — Он сам наливает в стакан браги, пьет. — Крепкий у тебя мужичишко!

— А я ведь не старуха еще, — задумчиво говорит Манефа, — и детей у нас из-за него нету.

— Вот и скажи на собрании, — бормочет Матвеич, — а что? Тем более, не старое время... Налей-ко мне этого... Я вопрос на правлении поставлю, — шепчет он, — в Верховный Совет опишу. По всем правилам.

Чего это он, Коровин, такую добрую бабу под нафталином держит?..

Манефа ставит бутыль в угол, и Матвеич обиженно продолжает:

— А может, так и надо? Курицы, они вредные. Шуму от них много... Я пошел! — он встает, держась за стену. — Я сейчас свою старуху тоже выгоню! Чего она по собраниям шляется!

— Дожди меня, — решительно произносит Манефа, уходит в комнату, срывает с себя кофту, юбку, скидывает с ног валенки.

Матвеич шумит на кухне:

— Почему у меня добра нет? Потому что не я дома хозяин! А кто? Баба. А она, известно дело... — и он оторопело замолкает, увидев Манефу.

Она в пальто с лисьим воротником, белом пуховом платке и хромовых сапожках. Фигура у нее тонкая, девичья.

— Не пущу! — Матвеич встает в дверях. — Ты что! Куда вырядилась?

Манефа выталкивает его в сени, гасит свет и плотно прикрывает за собой дверь.

МАДОННА

Жила Анна во флигельке — остатке прежних деревянных построек среди огромного двора, образованного тремя новыми высокими зданиями. Она проходила мимо людей торопливо, опустив голову.

Однажды загляделся Егор на нее, и глаза до боли сузились, так пристально смотрел, каждую складочку на платье высмотрел. Подмигнул, спросил:

— Может, выглянете во двор на минуточку? Народ тут вами интересуется.

Пожала Анна плечами, не остановилась, прошла. Тогда Егор и сказал негромко, на пробу:

— Ишь... мадонна какая!

Что такое мадонна, Егор толком не знал, но был уверен: слово это ругательное; не матерщина, конечно, а что-то вроде чертовки, например, или ведьмы.

Куприяновна, высокая, жилистая старуха, проговорила:

— Такая уж не подпустит, не-ет, — и на Егора покосилась.

Он выплюнул папиросу, раздавил сапогом и ответил:

— Знаем, встречали.

— Нет, нет, — повторила Куприяновна, — бывают такие.

Прозвище пристало к Анне накрепко,

всем казалось, что подходящее слово выдумал Егор.

Среди молодых мужчин из новых домов он был не последним. Высокий, белокурый, глаза голубые, всегда при галстуке — легко по земле ходил; погуливал, да не забывался, выпивал, да не напивался. Не одно и не два девичьих сердца разбил он, даже и женат был, говорят, но без отметки в паспорте.

Работал Егор слесарем-лекальщиком по седьмому разряду, понятия не имел, что такое тянуть рубли от получки до получки.

В комнате у него чисто и богато. Все здесь есть: и приемник с радиолой, и диван, и ковер, и скатерть дорогая.

По вечерам иногда Егор концерты устраивал: выставит радиолу на подоконник, включит на полную мощность и давай пластинки крутить. Пусть люди слушают, не жалко!

А тут забыл о любимом развлечении, сидел, в пол смотрел.

— Нездоровится? — спросила мать. — Может, принесть бутылочку?

Егор кивнул, но без охоты, просто так — чтоб не мешала думать.

Когда Наталья Власовна вернулась из магазина, сын сидел в той же позе. Стопку выпил будто воду, опять же без охоты или интереса. Потом достал пластинки, которые купил в прошлое воскресенье и еще не заводил.

Грустно и тонко пела мандолина. То-

скливо пела и нежно — жаловалась, должно быть. И когда она была уже не в силах выразить печали, мужской голос запел:

— Ма-адонна...

Егор вздрогнул, вытянул шею, но ни слова разобрать не мог: чужая была песня, не наша.

— И чего это ты купил? — спросила мать. — Мадонну какую-то. Уж не про флигельщицу ли?

— Налей-ка, — решительно сказал Егор, одним духом выпил стопку и к дверям; быстро прошел через двор и постучал во флигелек.

Лицо Егора стало растерянным, когда он увидел Анну.

— Можно? — спросил он, осторожно выговорив слово, будто оно было горячее.

— Что можно?

Одинакового с ним роста, широкая в плечах, Анна вблизи не такая красивая. Вон и морщинки у серых равнодушных глаз и складочки над бледными губами.

— Мадонной я вас... Обиделись?

Анна поправила вырез в халате, сказала:

— Мальчик вы еще. Глупенький.

И ушла.

Вернулся домой Егор, одну за другой две стопки выпил, проговорил задумчиво и удивленно:

— Нравится она мне.

— Господь с тобой! — мать даже руки раскинула в стороны, будто дорогу загора-

живая. — Стара ведь она, получше можешь найти.

— Действует она на меня. Понимаешь?

— Да как не понять. Женщина ведь она. В юбке. А ваш брат...

— А-а! — Егор в сердцах махнул рукой. — Женщина. Не в этом дело. Если бы насчет женщины, тут недолгий бы разговор. А она... — и вздохнул так тоскливо, что Наталья Власовна откапала себе валерьянки на три капли сверх нормы.

Только через неделю Егор появился во дворе, сел на скамеечку против флигелька.

— Мадонна-то твоя... — начала Куприяновна, но Егор процедил сквозь зубы:

— Изыди...

— А ты послушай, послушай, — на ухо ему торопливо зашептала старуха. — Машинисткой она состоит и еще кое-чем занимается. И до того опозорилась, что в другое учреждение сбежала и жилплощадь переменила, в наши, значит, края перебралась.

Стемнело. Подошла Наталья Власовна, чуть не плачет:

— Сидишь сиднем, ровно больной. Погулял бы или что... Принесть бутылочку?

— Не мешай, мать.

И так каждый вечер. Не на шутку встревожилась Наталья Власовна, рассказывала Куприяновне:

— Не спит. Папироски да спички перед собой на стул и дыми-ит. Где-то на утре

только и вздремнет часок-другой. А то еще читает.

— Окрутит она его! — со страхом отвечала Куприяновна. — Помяни мое слово, окрутит! Люди мне сказывали, что непутевая она, ух какая непутевая!

Заводские девчата приметили, что Егора будто подменили. Раньше ни одной проходу не давал, уж если не руками, так глазами обязательно ущипнет, а тут улыбается, и улыбка у него вроде бы виноватая.

Как-то вечером Егор зачитался, пришла Куприяновна и пробормотала испуганно:

— Мадонна тебя кличет!

Егор вскочил и бросился к выходу.

Вслед заплакала Наталья Власовна.

По лестнице Егор спускался медленно, соседа встретил, не поздоровался: не заметил.

Анна сидела на скамеечке, положив нога на ногу, спросила:

— Что же сегодня дежурить не вышли? Привыкла я вас на этом месте каждый вечер видеть. Знаете, женщине всегда приятно, когда к ней хорошо относятся.

Насторожился Егор — по голосу учуял: другая Анна перед ним, не мадонна, о которой песня есть, а такая, каких он много встречал, какие в душе и следочка не оставляют. Но не поверил себе, как не верил Куприяновне, заговорил:

— Ничего от меня не осталось. Из-за вас.

Вот как охота после работы в чистое переодеться, так мне перед вами человеком быть охота... Встретил я вас... вроде бы в темной комнате лампочку включили, сразу видно стало, что беспорядок в комнате-то... Смешно это, конечно...

— Почему смешно? — испуганно перебила Анна.

— Да потому... впустую я это говорю... Не верите ведь?

— Странно все это, — ответила Анна.

— Мадонна, — с усмешкой продолжал Егор. — Ерунда получилась. Узнал я это слово. Богородица значит. Или еще к женщинам так обращаются, которых очень уважают.

— Уважают? — насмешливо переспросила Анна. — За что?

— Не знаю, — признался Егор. — Да и невелика важность, за что... Такая история... уважаю, и всё тут!

Анна быстро поднялась, вырез в халате руками закрыла, а Егор говорил спокойно, будто не о себе:

— Через вас по-другому на жизнь смотреть стал.

— Да вы что... — пробормотала Анна и недоверчиво, и радостно, а Егор твердил свое:

— Полезно жить, когда такие, как вы, на свете бывают. Гляжу я на ваше окошко...

— Холодно мне, — прошептала Анна. — Спокойной вам ночи.

И убежала.

Егор ушел за ворота и долго еще бродил по улице да улыбался.

Два дня спустя к флигельку подкатила полуторка. Мальчишки помогли грузчикам складывать в кузов вещи. Подойдя к кабине, Анна оглянулась и посмотрела вверх, туда, где на подоконнике стояла Егорова радиола.

Над крышами домов, не опускаясь к земле, плыл голос:

— Ма-адонна...

НИКИФОРОВ

— Десять лет уплыло, как Даша померла. Хорошая баба была, а померла. Бросила, значит, меня одного. Скучища без нее, ровно не к чему жить одному-то...

Поперек Камы шевелится лунная дорожка, и кажется, что светло именно от нее, а не от луны. Сюда, на высокий крутой берег, ползет прохлада, густая и влажная.

Старик негромким простуженным голосом говорит:

— Я без реки жить не могу. Трудно дышу без реки-то. Только на берегу и отхожу, вроде бы лекарство какое принимаю... Даша, еще когда живой была, окунем меня дразнила. Смолоду она красивая была, сильнющая. Купаться, помню, на косу поедем, разденется она у воды, а у меня от красоты ее ноги отнимаются. Хоть бы всю жизнь смотрел... Никифоров тут один был. Еще раньше меня сватался. И всию-то жизнь он про Дашу думал. Как на своем «Ретвизане» мимо идет, вот тут, так гудит. Приветы ей, значит, посылает.

Где-то внизу на тропинке послышались веселые голоса и смех. Старик замолчал. Цигарка вспыхивала ярким синеватым пламенькоm. Когда голоса растаяли в темноте, старик продолжал неторопливо:

— Потом старость приковыляла. А мы

еще лучше жили. Ночью если сон страшный увижу, рукой пошевелю — жена рядом, и успокоюся... Денег у нас сроду не было. На что они? Даша хорошая больно была. Только Никифоров этот среди ночи иной раз как вскрикнет. А гудок у «Ретвизана» жалобный был, будто человеческий... Воот... Десять лет я без Даши вытерпел, с каждым годом все больше об ней думаю... Померла, а я больной сделался. Каждая косточка у меня болит, каждый позвонок. Весь я больной, сверху донизу. Раньше, бывало, занеможу, Даша меня в баньку да как веником всего исхлещет, и нету хворости...

— А где сейчас Никифоров? — спрашиваю я, но старик, видимо, не слышит и продолжает:

— Годов восемь назад сообразил я жениться. Ага. С горя, значит. Ведь встанешь утром — один, днем — обратно один, ночью — тоже... И нашел я себе тут на рейде молодушку. Толстую, веселую. Иду как-то вот здесь по берегу, а мимо «Ретвизан» плот тащит и... ага, гудит. Стыд меня зael... вот как голодный косточку обгладывает, так меня стыд... На пенсию Никифоров ушел и тоже помер. Недавно. Теперь сын у него по Каме плавает... Сегодня капитаном в первый рейс идет. На «Ретвизане», на новом...

Кругом тишина. Но чем больше я вслушиваюсь, тем сильнее убеждаюсь в ее обманчивости. Со всех сторон доносятся звуки

и шорохи, и даже сама река не безмолвна, она словно дышит.

Старик молчит, и чтобы продолжить разговор, я спрашиваю:

— А как здоровье у вас? Сердце?

— А ну его, сердце-то. Дурака валяет. То скачет, то останавливается. К врачам меня направляли, анализы со мной делали. Стыдно сказать, чего я только в больницу не носил, чепуху разную в баночках да бутылочках... Тьфу! Лекарства потом всякие пил. На что?

— Детей у вас не было?

— Троих войне скормили.

Сквозь лунную дорожку прошел катерок, и часть ее некоторое время тянулась за ним.

— Шу-умная река стала, — говорит старик. — Ране, бывало, в дальние-то годы, в день один-два парохода мимо прошлепают, а ныне... и теплоходы тебе, и паротеплоходы, и вообще всякие... Многие ночи у меня без сна. На берегу сижу. А дома если, от каждого гудочка-свисточка просыпаюсь. Все мне охота «Ретвизана» послушать... А Никифоров-то... Он плотоводом был... Считай, полжизни у меня под ногами палуба, и на земле-то я вроде как бы в гостях...

Видно, что от реки начинает отделяться туман. Тает луна. Исчезает дорожка. Мы долго сидим молча. Я не жалею, что опоздал на трамвайчик и вынужден коротать ночь на берегу.

Река дымится,

— Вот так, значит, — задумчиво произносит старик, — тяжело на реке работать, тревожно... — Он снимает выгоревшую капитанскую фуражку, рукавом проводит по лысине. — Не идет что-то никифоровский сынок... Нет, вон показался.

Старик резко поднимается, суетливо надевает фуражку.

Сверху — расплывчатым пятном с сигнальными огоньками — приближается буксир.

— «Ретвизан», — шепчет старик.

Все яснее проступают очертания широкобокого судна. Оно дышит шумно, тяжело.

Буксир поравнялся с нами. Канат, соединяющий судно с длинным плотом, не был виден, но даже отсюда, издали, я чувствовал, что он есть, мне казалось, что я слышу, как он звенит от напряжения.

Пусто на капитанском мостике. Спит, наверное, молодой Никифоров...

Лицо у старика растерянное, он пытается улыбнуться, шарит сзади руками, как делают, когда нащупывают стул.

И когда старик опустился на скамейку, мощный крик гудка ворвался в тишину и, радостный, густой, стал подниматься все выше и выше...

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ

Случайный спутник 5
Война прошла 11
Слышишь, друг... 17
Чужое горе 23
Костер на том берегу 31
Чистое тело 37
Самое длинное мгновение 42

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ

Почему плакала девочка 49
Ливень давно утих 57
Этот красивый моряк 63
Архип 70
Толстая тетя в голубом халате 76
Веточка 82

ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ

Петровна 89
Соперницы 96
Враг души моей 103
Две чашки кофе 110
Добро 116
Мадонна 122
Никифоров 129

Давыдычев Лев Иванович
ПОЧЕМУ ПЛАКАЛА ДЕВОЧКА
Редактор *Э. С. Моров*
Художник *Н. А. Шишловский*
Худож. редактор *Е. И. Балашева*
Технич. редактор *И. М. Кахраманова*
Корректор *Г. Г. Папандопуло*
Сдано в набор 7. XII 58 г.
Подписано в печать II. IV 59 г.
№ 1039/A00368
Печл. л. 4¼ (4,97) Уч. изд. л. 3,75
Тираж 30 000 экз.
Цена 1 р. 70 к.
Издательство «Советский писатель»
Москва, К-9, Б. Гнездниковский пер. 10.
Типография «Кошут», Будапешт

Издательство просит читателя дать отзыв как о содержании книги, так и об оформлении ее, указав свой точный адрес, профессию и возраст.

Библиотечных работников издательство просит организовать учет спроса на книгу и собор читательских отзывов.

Все материалы направлять по адресу: Москва, К—9, Б. Гнездниковский пер. дом. 10. издательство «Советский писатель».

1 р. 70 к.